

## КОМНАТА ДЖОВАННИ

### Перевод с английского Александра Радашкевича

Выдающийся американский негритянский писатель, публицист и общественный деятель Джеймс Артур Болдуин (Baldwin) родился в Нью-Йорке 2 августа 1924 года. Он был старшим из девяти братьев и сестёр и воспитывался в доме своего отчима-пастора.

Никогда не скрываемая Болдуином приверженность к однополой любви стоила ему на родине враждебности и неприятия как со стороны чернокожих братьев, так и со стороны белого пуританского большинства. Поэтому большую часть своей жизни писатель провёл во Франции, куда впервые попал в 1948 году. В 1986 году президент Миттеран произвел его в командоры ордена Почётного легиона. 1 декабря 1987 года Джеймс Болдуин скончался от рака в небольшом южном городке Сен-Поль-де-Ванс.

Первый же, повествующий о религиозном обращении подростка роман — «Поведай с горы» (1953) — принёс известность молодому автору на родине. Среди других произведений писателя — «Другая страна» (1962), «Скажи, когда ушёл поезд» (1968), «Если Бийл-стрит могла бы заговорить» (1975), «Прямо у меня над головой» (1979), «Гарлемский квартет» (1987). В США приобрела известность и острая художественная публицистика Дж.Болдуина, объединенная в сборники «Заметки родного сына» (1955), «Никто не знает моего имени» (1960) и в особенности — «В следующий раз — пожар» (1963).

Но подобно тому, как Сент-Экзюпери, несмотря на другие замечательные произведения, остаётся в сознании читателя прежде всего создателем «Маленького принца», Джеймс Болдуин навсегда останется автором «Комнаты Джованни» (1956) — небольшого шедевра, принесшего ему мировую славу. Это трагическая, разворачивающаяся на фоне Парижа 50-х годов история любви двух молодых людей, американца Дэвида и итальянца Джованни — современных автору Ромео и Ромео, нашедших в своём чувстве и в капкане комнаты Джованни эфемерное спасение из «ада существования» и превративших её в сущий ад.

Первый перевод романа был сделан переводчиком и культурологом Геннадием Шмаковым в 60-х годах прошлого века, когда он не был ещё достаточно подготовлен к такой сложной работе и даже не знал ещё английского. В силу чего перевод изобилует ошибками и неточностями. Новый перевод, выполненный замечательным поэтом и переводчиком Александром Радашкевичем, свободен от этих недостатков и обладает множеством литературных достоинств, вытекающих из масштаба и характера дарования переводчика, в совершенстве владеющего английским и французским языками, не говоря — блистательным русским.

Мы горды выпавшей нам честью впервые познакомить читателя со знаменитым романом в новом переводе.

Редакция

*Люсьену**Я — человек; я страдал, я там был.**Уолт Уитмен*

## ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

## 1

Я стою у окна в этом большом доме на юге Франции, пока наступает ночь. Ночь, ведущая меня к самому страшному утру моей жизни. В руке у меня стакан, а у локтя — бутылка. Я смотрю на своё отражение в темнеющих оконных стёклах. Это удлинённое отражение, похожее скорее на стрелу; светлые волосы мерцают в темноте. Лицо у меня вроде тех, что вы видели много раз. Мои предки завоевали этот континент, пересекая омертвелые равнины, пока не достигли океана, от-вернувшегося от Европы к более тёмному прошлому.

Я, должно быть, напьюсь к утру, но от этого мне не станет легче. Всё равно я поеду в Париж. Поезд будет тем же, и люди, пытающиеся устроиться поудобнее и даже сохранить достойный вид на деревянных сидениях третьего класса с прямыми спинками, будут те же, и я буду тот же. Мы поедем сквозь мелькающие деревенские пейзажи на север, оставляя за собой оливковые деревья и море, и всё величие бурлящего южного неба, — в парижский туман и дождь. Кто-то предложит поделиться со мной бутербродом, кто-то захочет угостить глотком вина, кто-то попросит спички. Люди будут бродить взад-вперёд по коридору, выглядывая в окна, заглядывая к нам. На каждой станции новобранцы, в своей мешковатой коричневой форме и красочных головных уборах, будут соваться в дверь купе и спрашивать: «Complet?»<sup>1</sup>. И мы все, как заговорщики, станем утвердительно кивать головой, чуть заметно улыбаясь друг другу, пока те протискиваются сквозь вагон. Двое или трое из них останутся стоять перед нашим купе, громко переговариваясь своими низкими похабными голосами и раскуривая вонючие армейские сигареты. Напротив меня будет сидеть девушка, удивляющаяся тому, что я с ней не заигрываю, и вся в напряжении от присутствия этих новобранцев. Всё будет то же самое, только я буду неподвижнее обычного.

Как неподвижен сегодня вечером деревенский пейзаж, просвечивающий сквозь моё отражение в окне. Этот дом расположен на окраине маленького летнего курорта, пустующего до начала сезона. Он построен на невысоком холме, откуда видны огни городка и где слышен шум моря. Мы с Хеллой, моей девушкой, сняли его несколько месяцев назад в Париже, по фотографиям. Уже неделя, как она уехала. Сейчас она где-то в открытом море, на пути обратно в Америку.

Я могу её себе представить: очень элегантная, напряжённая и неотразимая в заливающим салон океанского лайнера свете; пьющая немного быстрее, чем следует, смеющаяся и наблюдающая за мужчинами. Именно такой увидел я её впервые в баре у Сен-Жермен-де-Пре: она пила и наблюдала, и поэтому понравилась мне. Я подумал, что с такой будет забавно позабавиться. Так это началось, не имея для меня никакого другого значения; и я не уверен, несмотря ни на что, что когда-либо это значило для меня больше. Не думаю, что это значило нечто большее и для неё; по крайней мере до поездки в Испанию, когда она, оказавшись одна, начала задумываться, наверно, о том, что провести всю жизнь,

<sup>1</sup> «Занято?» (фр.)

наблюдая со стаканом в руке за мужчинами, вряд ли было пределом её желаний. Но тогда было уже поздно. И я уже был с Джованни. Я предлагал ей выйти за меня замуж до её отъезда в Испанию; она засмеялась, засмеялся и я, но от этого, как ни странно, всё это стало для меня ещё серьёзнее, и я начал настаивать; тогда она ответила, что должна уехать и подумать об этом. Она была здесь в самую последнюю ночь, когда я видел её в последний раз; она укладывала вещи в чемодан, и я сказал ей, что любил её, и заставил сам себя в это поверить. Не знаю, так ли это было. Я думал тогда скорее всего о наших ночах в постели, о той особой целомудренности и доверии, которые никогда не вернутся и в которых была вся прелесть этих ночей, ничем не связанных ни с прошлым, ни с настоящим, ни с тем, что ещё будет, ни вообще с моей жизнью, поскольку я не нёс за них никакой ответственности, кроме чисто механической. Всё, что совершалось в эти ночи, совершалось под чужим небом, без свидетелей и безнаказанно; это и стало причиной развязки, поскольку нет ничего невыносимее, чем свобода, когда вы её наконец получите. Думаю, именно поэтому я предложил ей выйти за меня замуж, чтобы за что-то зацепиться. Возможно, именно поэтому она решила в Испании, что хочет стать моей женой. Но, к несчастью, люди могут выдумывать себе свои причалы, любимых и друзей не более, чем выбирать себе родителей. Жизнь сама дарует всё это и сама же всего лишает, и самое трудное — это сказать жизни «да».

Сказав Хелле, что любил её, я думал и о тех днях, что протекали до того, как что-то ужасное, непоправимое случилось со мной, когда наша с ней связь была лишь связью. Теперь, начиная с этой ночи, с этого приближающегося утра, — неважно, в скольких и чьих кроватях мне предстоит оказаться между сегодняшним и моим последним ложем, — у меня уже никогда не будет таких, по-мальчишески острых связей, которые, если хорошенько подумать, являются не чем иным, как более совершенным или, во всяком случае, более претенциозным способом онанизма. Люди слишком многообразны для того, чтобы в них легко разобраться. Я слишком многообразен, чтобы мне доверять. Если бы это было не так, я бы не стоял один в этом доме сегодня ночью. Хелла не пересекала бы сейчас океан. А Джованни не ожидала бы — в любое мгновение между этим вечером и этим утром — смерть на гильотине.

Теперь я каюсь (чтобы хоть этим облегчить душу) особенно в одной лжи — среди всех неправд, которые я сказал, которыми жил и в которые верил. Я солгал Джованни, хоть он в это так и не поверил, что никогда раньше не спал с парнем. Я спал. И решил, что это никогда не повторится. Есть что-то невероятное в том сценарии, который я прожил: бежать так далеко, с таким трудом, даже пересечь океан — только для того, чтобы понять, где зарыта собака. А зарыта она была во дворе, у меня за домом. Только дворик за это время стал меньше, а собака — куда больше.

Джой. Я не вспоминал об этом мальчике уже столько времени; но в эту ночь он снова у меня перед глазами. Это случилось несколько лет назад. Я был ещё подростком, а он — на год старше или младше меня. И был это очень хороший мальчик, живой и черноволосый, вечно смеющийся. Какое-то время он был моим лучшим другом. Позднее мысль о том, что именно такой мальчик *мог* стать моим лучшим другом, стала для меня доказательством скрытого во мне ужасного порока. Поэтому я забыл о нём. Но теперь он снова стоит у меня перед глазами.

Это было летом, во время каникул. Его родители уехали куда-то на выходные, и я остался на эти дни у них в доме, который находился возле Кони-Айленда, в Бруклине. Мы тоже жили тогда в Бруклине, но в более богатом районе, чем Джой. Кажется, мы валялись тогда на пляже, немного купались и наблюдали проходящих

мимо полуголых девочек, сопровождая их появление свистом и хохотом. Уверен, что если бы хоть одна из них как-то отреагировала на этот свист, то даже океан не был бы достаточно глубок, чтобы утопить наш стыд и ужас. Но девушки, несомненно, как-то это понимали, возможно — по характеру нашего свиста, и игнорировали нас. Когда солнце стало садиться, мы побрели вдоль берега к его дому, натянув брюки поверх мокрых плавок.

Думаю, всё началось, когда мы мылись под душем. Знаю, что почувствовал что-то в себе, когда мы скакали в тесной, наполненной паром ванной, хлеща друг друга мокрыми полотенцами, — что-то такое, чего не чувствовал раньше и что каким-то таинственным и нечаянным образом касалось его. Помню своё явное нежелание одеваться: я сваливал это на жару. Но мы всё-таки что-то накинули на себя и принялись хватать еду прямо из холодильника и наливать пивом. Потом, должно быть, пошли в кино. Не могу представить, зачем бы ещё мы вышли из дома. Помню, что мы шли тёмными, раскалёнными, как в тропиках, бруклинскими улицами, и жар поднимался от асфальта и шёл от стен с такой силой, что мог убить человека; казалось, что все на свете взрослые, растрёпанные и недовольные, сидели на порогах своих домов, а все на свете дети высыпали на тротуар или сидели на пожарных лестницах; и рука моя лежала у Джоя на плечах. Думаю, я был горд тем, что ростом он доходил мне только до уха. Так мы шли, Джой отпускал похабные шуточки, и мы покатывались от смеха. Странно вспомнить впервые за столько времени, как хорошо мне было в тот вечер и как мне нравился Джой.

Когда мы наконец дошли до дома, всё было тихо, и мы тоже притихли. Мы вели себя очень смиренно, сонно разделись в комнате Джоя и легли в кровать. Думаю, я сразу уснул и проспал довольно долго. Проснулся от включённого света. Джой внимательно и яростно выискивал что-то на подушке.

— Ты что?

— Кажется, меня клопы кусают. — Дурак. У вас что — клопы?

— Вроде, кто-то меня укусил.

— Тебя кусали когда-нибудь клопы?

— Нет.

— Давай лучше спать. Тебе приснилось.

Он посмотрел на меня с открытым ртом и широко раскрытыми глазами. Как будто он открыл, что я специалист по клопам. Я рассмеялся и схватил его за голову, как это уже бывало бог знает сколько раз, когда мы дурачили или когда он мне надоедал. Но на этот раз, когда я дотронулся до него, с ним и со мной произошло что-то такое, что сделало это прикосновение не похожим ни на какое другое, когда-либо нами испытанное. А он не стал отбиваться, как поступал обычно, а лёг туда, куда я его тянул, — мне на грудь. Я почувствовал, что у меня страшно заколотилось сердце, что Джой дрожит на мне и что свет в комнате слепящий и жаркий. Я попытался отодвинуться и состричь что-нибудь; но Джой что-то проворчал, и я нагнул к нему голову. В этот момент Джой приподнял свою, и мы поцеловались так, будто это вышло случайно. И тогда, впервые в жизни, я по-настоящему ощутил чьё-то тело и чей-то запах. Мы держали друг друга в объятиях. Это было так, будто я держал в руке некую редкую, измученную, почти обречённую птицу, которую мне каким-то чудом удалось найти. Мне было очень страшно, как и ему, я уверен, и мы оба зажмурили глаза. То, что я вспомнил об этом сегодня так ярко и так болезненно, значит лишь, что на самом деле я ни на мгновение об этом не забывал. Сейчас я чувствую в себе глухой, жутковатый отклик того, что так сокрушающе бурлило во мне тогда: страшный иссушающий жар и дрожь, и такая острая нежность, что, казалось, у меня разорвётся сердце. Но из этой потрясающей и невыносимой боли родилась радость — радость, которую мы подарили друг другу в ту ночь. Тогда казалось, что всего отпущенного мне века будет мало, чтобы завершить с Джоем это свершение любви.

Но этот век оказался коротким, он измерялся той ночью и — завершился к утру. Когда я проснулся, Джой ещё спал — свернувшись калачиком, как ребёнок, ко мне лицом. Он был похож на малыша: рот приоткрыт, порозовевшие щёки; кудрявые волосы темнели на подушке и наполовину скрывали влажный округлый лоб, а длинные ресницы чуть поблёскивали в летнем солнце. Мы оба были голыми, потому что укрывавшая нас простыня сползла и обмоталась у нас вокруг ног. Тело у Джоя было смуглым, потным; это было прекраснейшее создание из всего, когда-либо мною виденного. Я уже хотел дотронуться до него, чтобы разбудить, но что-то остановило меня. Я вдруг испугался. Возможно, потому, что он раскинулся рядом так невинно, с таким совершенным доверием; возможно, потому, что он был намного меньше меня. Собственное тело показалось мне вдруг большим и тяжеловесным, а снова поднимающееся во мне желание — чудовищным. Но прежде всего мне было страшно. Я услышал в себе: «*а ведь Джой — это мальчик*». Я вдруг увидел силу, заключённую в его бёдрах, в плечах, в расслабленно лежащих запястьях. И эта сила, обещание и тайна этого тела внезапно испугали меня. Всё это тело неожиданно показалось мне входом в тёмную пещеру, где меня будут пытаться до потери рассудка и где я утрачу свою мужественность. Но так оно и было: я желал познать эту тайну, почувствовать эту силу и осуществить это обещание через себя. У меня похолодел пот на спине. Мне было стыдно. Сама эта кровать со сбитым ласками бельём свидетельствовала о падении. Что скажет мать Джоя, подумал я, когда увидит эти простыни. Потом я подумал о своём отце, у которого никого не осталось на свете, кроме меня, после смерти моей матери, забравшей её, когда я был ещё маленьким. В уме у меня открылась пещера — чёрная, полная сплетен, намёков, недосказанных, полузабытых и недопонятых историй, полная грязных слов. Я увидел своё будущее в этой пещере. Мне стало страшно. Я почти плакал, плакал от стыда и ужаса, плакал, потому что не понимал, как могло это случиться со мной и как могло это случиться *во мне*. И я принял решение. Встал, помылся в ванной и оделся. Когда Джой проснулся, завтрак был на столе.

Я не сказал ему о своём решении, потому что это могло сломить мою решимость. И не стал дожидаться, пока он позавтракает; только выпил кофе и придумал какой-то предлог, чтобы уйти домой. Я знал, что этот предлог не обманет Джоя, но он не умел ни спорить, ни настаивать и не понял, что именно это и следовало тогда сделать.

Потом я перестал у него бывать, хотя всё лето мы виделись почти каждый день. А он не приходил ко мне. Я был бы страшно рад, если бы он пришёл, но то, как я покинул его, сковывало нас всё больше, и ни он, ни я не знали, что с этим делать. Когда более или менее случайно мы наконец встретились уже на исходе лета, я рассказал ему длинную и совершенно неправдоподобную историю о девочке, с которой провожу время; а когда начались занятия в школе, я выбрал компанию ребят постарше и поглубже и повёл себя нагло по отношению к Джюю. И чем грустнее он от этого становился, тем наглее делался я. В конце концов он переехал в другой район, подальше от нашей школы, и больше я никогда его не видел.

Наверно, в то лето я начал чувствовать себя одиноко, и в то же лето начался тот полёт, что принёс меня к этому темнеющему окну.

И всё-таки когда начинаешь искать главное, тот решающий момент, что повлиял на всё остальное, то, причиняя себе страшную боль, пробираешься сквозь лабиринт ложных сигналов и с треском захлопывающихся дверей. Мой полёт в самом деле мог начаться тем летом, но это отнюдь не объясняет, из чего родилась сама дилемма, которая этим полётом тогда и разрешилась. Конечно, разгадка — прямо передо мной, заключена в то отражение, что я наблюдаю в окне, пока опускается ночь. Она попала вместе со мной в капкан этой комнаты;

так это было всегда и всегда будет, и всё-таки это более чуждо мне, чем те чужеземные холмы за окном.

Мы жили тогда в Бруклине, как я сказал; а до этого — в Сан-Франциско, где я родился и где лежит в земле моя мать; короткое время мы жили в Сиэтле, потом в Нью-Йорке (для меня Нью-Йорк — это Манхэттен). Позднее переехали из Бруклина обратно в Нью-Йорк, а когда я уехал во Францию, отец со своей новой женой перебрался уже в Коннектикут. К тому времени я, конечно, уже давно жил сам по себе, снимая квартиру на востоке 60-х улиц.

Я вырос в одном доме с отцом и его незамужней сестрой. Маму отнесли на кладбище, когда мне было пять лет. Я почти не помню её, но она являлась мне в кошмарах с кишасшими червями пустыми глазницами, с сухими, как проволока, и ломкими, как прутья, волосами, стараясь прижать меня к себе, к своему телу, такому разложившемуся, такому тошнотворно мягкому, что — пока я изо всех сил вырывался и кричал, — в нём открывалась такая огромная дыра, что могла бы поглотить меня живьём. Но когда отец и тётка вбегали узнать, что меня так напугало, я не смел пересказать им свой сон, потому что это было бы оскорбительно по отношению к моей матери. Я говорил, что мне приснилось кладбище. Из этого они заключали, что мамина смерть повлияла на моё воображение и, должно быть, думали, что я горюю по ней. Может, так оно и было, но если это так, то я горюю о ней и по сей день.

Между отцом и тёткой были ужасные отношения, и, не зная откуда и почему мне это известно, я знал, что их затянувшаяся вражда прямо связана с моей мёртвой матерью. Помню, что, когда я был маленьким, её фотография, стоявшая как-то отдельно от всего на камине в большой гостиной нашего дома в Сан-Франциско, казалось, правила этой комнатой. Эта фотография будто доказывала, что дух её обитает в воздухе и контролирует нас. Я помню тени, сгущавшиеся по углам этой комнаты, в которой я никогда не чувствовал себя дома, и отца — в потоке золотистого света, льющегося на него из высокого торшера, стоявшего рядом с его удобным креслом. Он читал развёрнутую газету, скрывавшую его от меня; иногда, тщательно пытаясь привлечь его внимание, я так надоедал ему, что в конце концов меня в слезах выносили из комнаты. И ещё я помню, как он сидел, наклонившись вперёд, уперев локти в колени и уставившись в большое окно, сдерживающее напор чёрной, как тушь, ночи. Я пытался догадаться, о чём он думает. Перед глазами моей памяти он стоит в сером вязаном жилете, с ослабленным галстуком и пепельными волосами, падающими на квадратное красноватое лицо. Он принадлежит к той породе людей, которых легко рассмешить и трудно рассердить. Но гнев таких людей, когда его удаётся разбудить, тем страшнее: он будто вырывается из какой-то незаметной щели, как пламя, которое грозит поглотить весь дом.

Элин, сестра отца, была немного старше его, немного темнее, всегда слишком разодетая, слишком ухоженная, с лицом и фигурой, начинавшими отвердевать, обвешенная украшениями, позвякивающими и поблёскивающими на свету, сидящая на диване, читающая; она много читала, все новинки, и очень часто ходила в кино. И ещё она вязала. Кажется, она всегда была с большим мешком, полным опасных вязальных спиц, или с книгой, или с тем и другим одновременно. Не знаю, что она вязала, но думаю, что хотя бы время от времени это было предназначено отцу или мне. Я не помню этих вещей, равно как не помню тех книг, что она читала. Это могла быть одна и та же книга, как она могла вязать всё тот же шарф или свитер, или бог знает что — все эти годы, что я знал её. Иногда они с отцом играли в карты, но это случалось редко; иногда они вели разговор в дружески подтрунивающем тоне, но это было опасно. Эти пересмешки всегда заканчивались ссорой. Иногда у нас бывали гости, и мне часто разрешали наблюдать, как они пьют коктейли. Отец бывал тогда в своём лучшем настроении; ребяч-



ливый и заводной, он обходил наполненную приглашёнными гостиную со стаканом в руке, подливая всем что-то, часто смеясь, по-братски общаясь с мужчинами и приударяя за женщинами. Элин всегда следила за ним, будто боялась, что он может сделать что-то ужасное; следила и за ним, и за женщинами, хотя сама флиртовала с мужчинами, но как-то странно и нервозно. Она являлась, как говорится, убийственно разодетой, с помадой — алее всякой крови, в платье, которое было либо неподходящего цвета, либо слишком облегающим, либо не соответствующим её возрасту; сжимая стакан в руке так, что он мог треснуть и разлететься на тысячи осколков; повышая голос всё больше и больше — до звука ножа по стеклу. Когда я был маленьким и наблюдал за ней в компании, она пугала меня.

Но что бы ни происходило в гостиной, моя мать наблюдала за этим. Она смотрела из рамки — бледная, со светлыми волосами, изящная, темноглазая, с прямыми бровями и нервным мягким ртом. Но от того, как были посажены глаза и как широко раскрыты, от какой-то неуловимой язвительности и искущённости рта чувствовалось, что за этой напряжённой хрупкостью крылась сила, столь же неощутимая, сколько неодолимая, и, в силу своей полной непредсказуемости, такая же опасная, как ярость отца. Отец редко говорил о ней, а когда делал это, то, по какой-то таинственной причине, закрывал лицо руками. И говорил он о ней лишь как о моей матери, так что на самом деле, наверно, он говорил о самом себе. Элин же говорила о матери часто, подчёркивая, что это была замечательная женщина, но мне от этого становилось неловко. Я чувствовал, что не имею права быть сыном такой матери.

Намного позднее, уже став взрослым, я пытался подтолкнуть отца рассказать о ней. Но Элин уже умерла к тому времени, а он собирался снова жениться. И говорил о матери так, как говорила Элин; так что скорее всего он говорил, наверно, об Элин.

Однажды ночью, когда мне было лет тринадцать, между ними вспыхнула ссора. Конечно, они очень часто ругались, но, должно быть, я помню об этой ссоре так ясно потому, что она касалась меня.

Я уже спал наверху. Было довольно поздно. Меня неожиданно разбудили шаги отца под моим окном. По звуку и по ритму этих шагов я мог заключить, что отец был выпивши, и в тот же момент какая-то горечь и небывалая грусть наполнили меня. Я видел его пьяным много раз, но никогда не чувствовал такого (наоборот, отец бывал очень милым во хмелю), но в ту ночь я вдруг ощутил в этом и в нём самом что-то такое, что вызывало презрение.

Я слышал, как он вошёл. И тут же раздался голос Элин.

— Ты ещё не в постели? — спросил отец. Он старался быть ласковым и избежать сцены, но в голосе у него не было никакой сердечности, а лишь напряжённость и раздражение.

— Я подумала, — сказала Элин холодно, — что кто-то должен тебе сказать о том, что ты делаешь со своим сыном.

— Что я делаю с сыном?

Он готов был добавить что-то, что-то ужасное, но сдержался и лишь проговорил с отрешённым, пьяным и безнадёжным спокойствием:

— О чём ты говоришь, Элин?

— Ты действительно думаешь, — начала она (я был уверен, что она стояла посреди комнаты со скрещёнными на груди руками, совершенно прямая и недвижимая), — что он должен стать таким же, как ты, когда повзрослеет?

Поскольку отец ничего не ответил, она продолжала:

— Он уже становится взрослым, понимаешь?

И затем, злорадно:

— Больше этого мне нечего тебе сказать.

— Иди спать, Элин, — проговорил отец очень устало.

Я подумал, что, поскольку они говорят обо мне, мне бы следовало спуститься и сказать Элин, что свои отношения с отцом мы можем уладить и без её участия. И ещё, как ни странно, я почувствовал, что всё это неуважительно по отношению ко мне. Ведь я же ни разу не сказал ей и слова об отце.

Я прислушивался к его тяжёлым, неровным шагам, пока он пересекал комнату по направлению к лестнице.

— Не думай, — сказала Элин, — что я не знаю, где ты был.

— Я ходил чего-нибудь выпить, — ответил отец, — а теперь мне бы хотелось немного поспать. Ты не возражаешь?

— Ты был с этой девицей, с Беатрис, — сказала Элин. — Где и всегда, и где пропадают все твои деньги, всё, что делает тебя мужчиной, и всякое уважение к себе.

Ей удалось взбесить его. Он начал заикаться от гнева.

— Если ты считаешь... если считаешь, что я буду стоять... стоять... стоять тут... и обсуждать с тобой свою личную жизнь... свою личную жизнь!.. если ты думаешь, что я собираюсь обсуждать это с тобой, ты, наверно, просто рехнулась.

— Мне наплевать, — сказала Элин, — что ты творишь с собой. Меня заботишь не ты. Просто ты единственный человек, который имеет какое-то влияние на Дэвида. У меня его нет. Он лишён матери. И слушает меня только тогда, когда думает, что тебе это приятно. Ты действительно думаешь, что Дэвиду полезно видеть, как ты вваливаешься домой каждый день вдрызг пьяным? И не воображай, — добавила она грудным от волнения голосом, — не воображай, что он не знает, откуда ты являешься. Не думай, что он ничего не знает от твоих бабах!

Это была неправда. Не думаю, что я знал об этом или даже задумывался. Но, начиная с той ночи, я думал о них всё время. Я не мог увидеть почти никакую женщину, не гадая о том, не «замешан» ли, как выражалась Элин, с ней мой отец.

— Думаю, что у Дэвида мысли вряд ли намного чище твоих, — сказал отец.

Наступившее молчание, в котором отец поднимался по лестнице, было, условно, самым страшным молчанием в моей жизни. Я старался догадаться, о чём они думают — каждый из них. Догадаться, как они выглядят. Понять, в каком виде увижу я их утром.

— И потом, знаешь, — произнёс вдруг отец посередине лестницы таким голосом, что мне стало жутко, — всё, что я желаю Дэвиду, это чтобы он вырос мужчиной. И если я говорю «мужчиной», я не имею в виду учителя воскресной школы.

— Быть мужчиной, — сказала Элин, — не значит быть жеребцом. Спокойной ночи.

— Спокойной ночи, — отозвался отец после паузы.

И я услышал, как он, шатаясь, миновал мою дверь.

С того самого момента — со всей тайной, коварной и дикой страстью юности — я презирал своего отца и ненавидел Элин. Трудно сказать почему. Я сам не знаю. Но это позволило сбыться всем предсказаниям Элин насчёт меня. Она сказала, что наступит такое время, когда ничто и никто не будет иметь надо мной власти, включая отца. И такое время, конечно, настало.

Это было уже после Джоя. То, что произошло между нами, глубоко потрясло и сделало меня скрытным и жестоким. Я не мог ни с кем обсуждать случившееся и даже себе не мог в этом признаться; и хотя я никогда не думал о нём, это событие лежало на самой глубине души так неподвижно и страшно, как разлагающийся труп. Он менялся на глазах, распухал и отравлял мне душу. И скоро уже я сам возвращался домой, шатаясь и поздно ночью, уже меня поджидала теперь Элин и со мной скандалила ночь за ночью.

Отношение моего отца к происходившему сводилось к тому, что это неизбежная болезнь роста, и он старался относиться ко всему спокойно. Но за шутивостью и видимостью компанейского заговора он прятал свою растерянность и испуг.



Наверно, он предполагал, что с возрастом я стану к нему ближе; но теперь, когда он пытался что-то во мне понять, я был от него уже за тридевять земель. Я *не хотел*, чтобы он меня знал. Не хотел, чтобы меня знал кто бы то ни было. Кроме того, я начал тогда делать то, что неизбежно случается с повзрослевшими детьми по отношению к старшим: я начал судить его. Но сама безжалостность этого суда, которая разрывала мне сердце, выявила (хоть я и не понимал этого тогда), что я очень любил его и что эта любовь умирает вместе с моей невинностью.

Мой бедный отец был напуган и сбит с толку. Он не мог поверить, что между нами что-то действительно неладно. И это не было только потому, что он не знал тогда, как поступить; но, главным образом, потому, что боялся поверить, что где-то и что-то он недосмотрел, и это что-то было огромной важности. Но поскольку мы оба не понимали, в чём заключалось это столь важное упущение, и поскольку мы должны были оставаться в негласном союзе против Элин, мы нашли выход из положения в том, что стали сердечнее относиться друг к другу. Мы, как горделиво замечал иногда отец, скорее походили не на отца с сыном, а на закадычных друзей. Думаю, что иногда отец в это действительно верил. Я же никогда. Я хотел быть не его приятелем, а его сыном. Эта мужская откровенность, установившаяся между нами, измучила и отвратила меня от него. Отцы должны изобегать показываться своим сыновьям совершенно нагими. Я не хотел знать (во всяком случае не из его уст), что тело у него так же бездуховно, как моё собственное. От этого знания я не почувствовал себя его сыном — или приятелем — в большей степени; я лишь ощутил, что подглядываю что-то такое, от чего мне страшно. Он полагал, что мы похожи друг на друга. Я не хотел в это верить. Не хотел верить, что моя жизнь будет похожа на его, что мой разум когда-нибудь станет таким же бесцветным, таким же рыхлым, без ярких и неожиданных вспышек. Он стремился, чтобы ничто не стояло между нами, чтобы я смотрел на него, как мужчина на мужчину. А мне не хватало щадящей дистанции между отцом и сыном, которая позволила бы мне любить его.

Однажды ночью, напившись где-то за городом и возвращаясь домой с приятелями, я разбил машину. Это произошло полностью по моей вине. Я едва держался на ногах и был совершенно не в состоянии сидеть за рулём; но остальные не видели этого, поскольку я принадлежу к той породе людей, которые на вид и по голосу похожи на трезвых, в то время как на самом деле готовы рухнуть замертво. На прямом и ровном участке дороги что-то странное произошло с моей способностью реагировать на окружающее, и машина вдруг вышла у меня из-под контроля. И тогда телефонная будка, белая, как морская пена, вырвалась мне навстречу из кромешной тьмы; я услышал крики, а затем — тяжёлый, ревущий скрежет. Потом всё стало алым, потом — ярким, как солнечный свет, и я погрузился в неведомый мне до тех пор мрак.

Наверно, я начал приходить в себя, когда нас везли в больницу. Смутно припоминается движение и голоса, но всё казалось таким далёким и не имеющим ко мне никакого отношения. Потом, уже позднее, я очнулся в каком-то месте, которое показалось мне самым сердцем зимы: высокий белый потолок, белые стены и тяжёлое ледяное окно, которое, казалось, нависло надо мной. Должно быть, я попытался подняться, поскольку мне запомнился страшный гул в голове, а потом — давление на грудь и огромное лицо надо мной. И когда это давление и это лицо начали толкать меня назад, я закричал, зовя на помощь маму. Потом снова стало темно.

Когда я окончательно пришёл в себя, у кровати стоял отец. Я знал, что он здесь, до того, как увидел его, до того, как сфокусировал взгляд и осторожно повернул голову. Увидев, что я очнулся, он тихонько приблизился к кровати, показывая руками, чтобы я не двигался. Он выглядел очень старым. Мне хотелось плакать. Какое-то время мы молча смотрели друг на друга.

— Как ты себя чувствуешь? — прошептал он наконец.

Попытавшись заговорить, я впервые почувствовал боль и сразу испугался. Он должен был увидеть это по моим глазам, поскольку сразу заговорил с болезненной и чудесной силой в голосе:

— Не беспокойся, Дэвид. Всё будет хорошо. Всё будет хорошо.

Я ничего не мог произнести и только смотрел на его лицо.

— Вам, ребята, страшно повезло, — сказал он, стараясь улыбнуться. — Тебя покорежило больше других.

— Я был пьян, — вымолвил я наконец. Мне хотелось всё ему рассказать, но говорить было настоящей пыткой.

— А тебе не может, — спросил он совершенно растерянно, поскольку именно в этом вопросе он имел полное право растеряться, — не может прийти в голову что-нибудь поумнее, чем пьяным садиться за руль? Ведь может! — сказал он строго и прикусил губу. — Вы все могли погибнуть.

У него дрогнул голос.

— Прости меня, — сказал я неожиданно для себя. — Прости.

Я не знал, как сказать, за что я прошу прощения.

— Ничего, — сказал он. — Просто будь осторожнее следующий раз.

Он мял в руках носовой платок. Потом развернул его, наклонился и отёр мне лоб.

— У меня только ты на свете, — сказал он со смущённой и горькой ухмылкой. — Береги себя.

— Папа..., — произнёс я и заплакал. И хотя это было ещё большей пыткой, чем говорить, я не мог остановиться.

Лицо у него вдруг исказилось. Оно стало страшно старым, но в то же время совершенно и беспомощно молодым. Помню, что я — в недвижимом и холодном центре закипавшей во мне бури — был потрясён тем, что отцу больно, всё ещё больно.

— Не плачь, — сказал он. — Не плачь.

Он водил мне по лбу этим дурацким носовым платком, будто в нём заключалась какая-то целительная сила.

— Не о чем плакать. Всё будет хорошо.

Сам он почти плакал.

— Всё ведь в порядке, а? Разве я сделал что-нибудь не так?

И он продолжал водить мне по лицу носовым платком, лишая меня воздуха.

— Мы напились... Напились, — твердил я, будто это могло каким-то образом всё объяснить.

— Твоя тётка Элин говорит, что это моя вина, — сказал он. — Она говорит, что я плохо тебя воспитывал.

Он убрал, слава богу, свой платок и слабо пожал плечами.

— У тебя что-то есть против меня, а? Скажи мне.

Слёзы начали сохнуть у меня на лице и в груди.

— Нет, — сказал я. — Нет. Ничего. Честно.

— Я делал всё, что мог, — сказал он. — Действительно всё, что мог.

Я взглянул на него. Тогда он в конце концов разулыбался и сказал:

— Ты должен пролежать здесь какое-то время, но когда тебя привезут домой и пока ты будешь оставаться в постели, мы обо всём поговорим, ага? И постарайся подумать о том, что нам с тобой делать, когда ты поднимешься на ноги. Идёт?

— Идёт, — ответил я.

Потому что понимал в глубине души, что мы никогда толком не разговаривали и теперь уже никогда не будем. И понимал, что он никогда не должен об этом знать. Когда я вернулся домой, он рассуждал со мной о моём будущем, но я уже принял решение. Я не собирался поступать в колледж. Не собирался оставаться

с ним и с Элин в этом доме. И мне удалось повернуть дело так, что он поверил, будто моё решение искать работу и устроиться жить одному было прямым следствием его советов, а также плодом его воспитательной работы со мной. Когда я ушёл из дома, отношения с ним стали, конечно, ещё легче, и он никогда не чувствовал себя исключённым из моей жизни, поскольку мне всегда удавалось, когда заходила об этом речь, сказать именно то, что ему хотелось услышать. Потом всё так и продолжалось, потому что образ моей жизни, который я рисовал отцу, был именно тем, в который я сам отчаянно пытался поверить.

Ведь я принадлежу — или принадлежал — к тому сорту людей, кто гордится силой своей воли, способностью принять решение и добиться его осуществления. Но достоинство это, как и большинство достоинств, само по себе двусмысленно. Те, кто верит в силу своей воли и свою власть над судьбой, могут укрепляться в этой вере лишь посредством умелого самообмана. Их решения не имеют ничего общего с настоящими решениями (подлинное решение делает человека смиренным, поскольку он знает, что оно находится в зависимости от бесчисленного множества вещей), но являются изощёренной системой увёрток и иллюзий, соотканной для того, чтобы они сами и мир казались именно тем, чем ни они, ни мир отнюдь не являются. Таковым, разумеется, было и моё, принятое так давно — в кровати Джоя — решение. А решил я исключить из своей вселенной всё, чего стыдился и что меня пугало. И у меня это здорово получалось, поскольку я не вглядывался ни во вселенную, ни в себя самого, пребывая в состоянии постоянного движения. Но даже непрерывное движение не исключает, конечно, таинственных случайных остановок и падений, подобных падению самолёта в воздушную яму. И таких падений приключилось немало, и все они были пьяными, все грязными, а одно из них, когда я был в армии, — очень страшным, поскольку связано было с педиком, и парень этот пошёл потом под военный трибунал и вылетел из армии. Панический страх, вызванный во мне этим наказанием, более всего походил на тот ужас, который я видел иногда в потемневшем взгляде другого человека.

А следствием было то, что всё подсознательно связанное с этим страхом, я изнашивал в движении, в безрадостных морях алкоголя, в грубой, пошловатой, искренней и не имеющей ровно никакого значения дружбе, изнашивал пробиранием сквозь лес отчаявшихся женщин, изнашивал в работе, которая лишь кормила меня в самом прямом и буквальном смысле слова. Возможно, что, как мы говорим в Америке, мне хотелось найти себя. Это любопытное выражение, мало употребляемое, насколько мне известно, в языках других народов, вовсе не означает то, что пытается означать, а лишь выдаёт тоскливое подозрение, что что-то оказалось не на своём месте. Теперь я думаю, что если бы имел малейшее представление о том, что та моя сущность, которую мне предстояло открыть, была всего лишь той, от которой я пытался спрятаться столько времени, я остался бы дома. И всё-таки мне кажется, что в самой глубине души я прекрасно знал, что делал, когда поднялся на борт корабля, отплывавшего во Францию.

## 2

Я встретил Джованни на второй год моей жизни в Париже, когда остался без денег. В то утро, предшествовавшее вечеру нашей встречи, меня выставили из отеля. Я задолжал не так уж много — всего около шести тысяч франков, но у владельцев парижских отелей особый нюх на бедность, а унюхав её, они делают то, что и любой другой, почувствовавший дурной запах: они выбрасывают источник зловония.

На счету у моего отца были деньги, принадлежавшие мне, но ему не хотелось их посылать, поскольку он надеялся, что я вернусь — вернусь домой и, как он говорил, осяду; и всякий раз, когда он повторял это, я представлял себе какую-то тину на дне стоячего пруда. Тогда я был мало с кем знаком в Париже, а Хелла была в Испании. Большинство моих знакомых принадлежали, как иногда выражаются парижане, к *le milieu*<sup>2</sup>, и хотя это *milieu* принимало меня, конечно, с распростёртыми объятиями, я старался доказать и им, и себе, что не принадлежу их кругу. А достигал я этого тем, что проводил с ними много времени и проявлял по отношению ко всем такую терпимость, которая, думаю, ставила меня вне подозрений. Я написал друзьям, разумеется, прося у них денег, но Атлантический океан глубок и широк, а деньги совсем не рвутся к нам с другого берега.

Тогда, сидя за чашкой остывшего кофе в одном из кафе на бульваре, я перелистал всю записную книжку и решил обратиться к старому знакомому, который всегда просил позвонить ему, к стареющему американскому бизнесмену бельгийского происхождения по имени Жак. У него была большая, удобная квартира, много всякой выпивки и много денег. Он был, как я и предполагал, удивлён, услышав мой голос, и — пока неожиданность и приятное удивление не уступили место настороженности — успел пригласить меня на ужин. Может, он и проклинал себя, повесив трубку и протянув руку за бумажником, но было слишком поздно. Вообще-то Жак не такой плохой. Пусть он и дурак, и трус, но ведь любой из нас либо то, либо другое, а большинство — и то, и другое вместе. Чем-то он мне даже нравился. Был он глупым, но таким одиноким. Так или иначе, но теперь я понимаю, что презрение, которое я испытывал по отношению к нему, было связано с презрением к самому себе. Он мог быть и невероятно щедрым, и невыносимо скарредным. И хотя он стремился доверять всем, на самом деле он не верил ни одной живой душе; и чтобы скрыть это, он расшвыривал деньги на кого попало, и этим, разумеется, умели пользоваться. Тогда он застёгивал свой бумажник, запер дверь и находил убежище в той неизбывной жалости к себе, которая была, пожалуй, единственным, что ему по-настоящему принадлежало. Долгое время я считал, что он со своей просторной квартирой, благожелательными обещаниями, со своим виски, марихуаной и со своими оргиями помог убить Джованни. Возможно, так оно и было. Но на руках Жака, конечно, не больше крови, чем на моих.

Я видел, между прочим, Жака сразу после вынесения приговора Джованни. Закутанный в длинное пальто, он сидел на открытой веранде кафе, попивая *vin chaud*<sup>3</sup>. Он был один на террасе. Он окликнул меня, когда я проходил.

Выглядел он неважно: лицо было в красных пятнах, а глаза за очками были глазами умирающего, который хватается за любую надежду исцеления.

— Ты слышал, — пролепетал он, когда я подсел, — насчёт Джованни?

Я кивнул утвердительно. Помню, что зимнее солнце слепило глаза и что я чувствовал себя таким же холодным и далёким, как это солнце.

— Это ужасно, ужасно, ужасно, — стонал Жак. — Ужасно.

— Да.

Я не мог выдавить из себя ничего другого.

— Я всё думаю о том, почему он это сделал, — продолжал Жак. — Почему не обратился за помощью к друзьям.

Он взглянул на меня. Мы оба знали, что, когда Джованни попросил денег в последний раз, Жак отказал ему. Я ничего не ответил.

— Говорят, что он начал курить опиум, — сказал Жак. — Что деньги ему были нужны именно на это. Ты что-нибудь слышал?

Я слышал. Это была газетная сплетня, но у меня были основания этому верить, поскольку я знал о глубине отчаяния Джованни, которое, в силу своей бездон-

<sup>2</sup> среде, людям определённого круга (фр.)

<sup>3</sup> горячее вино (фр.)

ности, превратилось просто в пустоту, управлявшую его поступками. «Я хочу вырваться из этого, — говорил он мне, — je veux m'évader<sup>4</sup> из этого грязного мира, из этого грязного тела. Я больше не хочу отдавать любви ничего, кроме тела».

Жак ждал моего ответа. А я уставился глазами на улицу перед нами. Я начинал думать о смерти Джованни: то, чем был Джованни, станет ничем, ничем навеки.

— Я надеюсь, это не по моей вине, — сказал наконец Жак. — Я не дал ему денег. Если бы я знал, я бы отдал ему всё, что у меня есть.

Мы оба понимали, что это неправда.

— А может, вы не были счастливы вместе? — предположил Жак.

— Нет.

Я встал.

— Было бы лучше, если бы он оставался там, в своей деревне в Италии, сажал свои оливковые деревья, наплодил бы кучу детей и лупил свою жену. Он любил петь, — вспомнил я вдруг. — Оставшись там, он мог бы, наверно, пропеть свою жизнь и умереть в своей кровати.

Тут Жак произнёс нечто, что меня удивило. Люди полны неожиданностей — даже для себя самих, стоит их только хорошенько встряхнуть.

— Никто не в силах оставаться в садах Эдема, — сказал он. И продолжил: — Не знаю почему.

Я ничего не ответил, простился и ушёл. Хелла к тому времени уже давно вернулась из Испании, мы уже собирались снять этот дом и договорились о встрече в городе.

С тех пор мне вспоминался этот вопрос Жака. Банальный вопрос, но что действительно ужасно в жизни, это то, что она так банальна. В конце концов, все идут той же тёмной дорогой — и весь фокус в том, что она наиболее темна и опасна именно тогда, когда выглядит такой ясной, — и правда, что никто не задерживается в райских кущах. Конечно, у Жака был не тот рай, что у Джованни. Рай Жака был населён регбистами, а у Джованни — молоденькими девушками, но это не такая уж большая разница. Наверно, у каждого есть свой райский сад, не знаю. Не успеют его оглядеть, как блеснёт пламенеющий меч. Потом жизнь предлагает на выбор либо вспоминать этот рай, либо забыть о нём. Или же так: нужно иметь силу, чтобы помнить о нём, иметь другого рода силу, чтобы забыть, и нужно быть героем, чтобы совмещать и то, и другое. Помнящие ублажают безумие болью — болью бесконечного напоминания о гибели их невинности; забывшие услаждают иное безумие — безумие отрицания боли и ненависти по отношению к невинности. И мир по большей части разделён на тех безумцев, что помнят, и тех, что позабыли. Герои встречаются редко.

Жак не хотел устраивать ужин у себя, поскольку его повар сбежал. Повара всегда сбежали от него. Он всегда нанимал молодых парней из провинции, один бог знает как, чтобы они приходили и готовили, а те, разумеется, едва успев разобраться в столичной жизни, сразу решали, что им меньше всего на свете хочется возиться на кухне. Обычно они возвращались в конце концов к себе в провинцию — по крайней мере те из них, кто не заканчивал тротуаром, тюрьмой или отъездом в индокитайские колонии.

Мы встретились во вполне приличном ресторане на улице Гренель и договорились, что он одолжит мне десять тысяч франков ещё до того, как допили аперитивы. Он был в хорошем расположении духа, что определило и моё настроение, конечно, и что означало, что вечер закончится попойкой в любимом баре Жака, шумном, многолюдном, похожем на слабо освещённый тоннель, с сомнительной (скорее даже не сомнительной, а слишком откровенной) репутацией. Время от времени полиция устраивала там облавы — судя по всему, с согласия Гийома,

<sup>4</sup> я хочу бежать (фр.)

бывшего патроном заведения и всегда ухитрявшегося предупредить своих любимых клиентов о том, что если у них нет при себе документов, то лучше перейти в другое заведение.

Помню, что в тот вечер в баре было необычайно шумно и тесно. Собрались все habitués<sup>5</sup>, но было и много новых лиц; одни высматривали кого-то, другие просто глазели. Три или четыре шикарные парижские дамы сидели за столиками со своими альфонсами или любовниками, или просто племянниками из деревни, бог знает; дамы были сильно возбуждены, а их компаньоны скорее скованны; дамы пили гораздо больше. Были там, как обычно, и джентльмены, уже с брюшком, в очках, с алчным, иногда безнадежным выражением глаз; ну и как обычно, со стройным, подобным лезвию ножа телом, затянутые в облегающие брюки юноши. Что касается последних, никогда нельзя быть уверенным, чего они хотят: денег, крови или любви. Они непрерывно сновали по бару, прося угостить сигаретой или выпивая за чужой счёт, и было в их взгляде что-то одновременно страшно ранимое и страшно жестокое. Это были, конечно, les folles<sup>6</sup>, сочетающие всегда в своей одежде самые невероятные вещи, визжащие, как попугаи, об интимных подробностях своих последних романов — романов, которые всегда представляются весёлыми до безумия. Время от времени, уже довольно поздно, один из них вбегал в бар, чтобы объявить, что он (хотя они всегда говорят друг о друге «она») только что был в объятиях знаменитого актёра-кинозвезды или боксёра. Тогда все остальные толпились вокруг новоприбывшего, образуя собой что-то вроде павлиньего вольера, и кудахтали, как целый курятник. Мне всегда было трудно поверить, что они бывают с кем-либо в постели, ибо мужчина, который хочет женщину, всё-таки выберет скорее всего настоящую, а мужчина, который хочет мужчину, вряд ли позарится на таких. Может, именно поэтому они и визжали так пронзительно. Был там парень, который, как говорили, работал на почте, а поздним вечером приходил в бар накрашенный, с серьгами в ушах, со взбитыми в высокую причёску густыми русыми волосами. Иногда он появлялся в юбке и в туфлях на высоких каблуках. Обычно он стоял один, если Гийом не подходил его подразнить. Говорили, что он добрый парень, но, признаюсь, от этой карикатурности его облика мне всегда становилось не по себе. Возможно, то же самое испытывают люди, которых начинает выворачивать наизнанку при виде обезьян, поедающих собственные экскременты. Они бы, может, и не так это переживали, если бы обезьяны не были — так утрировано — похожи на людей.

Этот бар находился почти в моём quartier<sup>7</sup>, и я много раз завтракал в близлежащем кафе для работяг, куда перебирались все эти ночные птицы, когда закрывались другие бары. Иногда я бывал там с Хеллой, иногда один. В баре Гийома я тоже был два или три раза, однажды — в стельку пьяный. Меня обвинили потом, что я произвёл некоторую сенсацию тем, что заигрывал с каким-то солдатом. К счастью, воспоминания мои об этом вечере были весьма туманными, и я стал считать, что как бы пьян я ни был тогда, я ни в коем случае не позволил бы себе подобное. Но меня там уже знали, и я подозревал, что некоторые заключали пари по поводу меня, как если бы они были старшими членами некоего странного и сурового религиозного ордена и наблюдали за мной с тем, чтобы с помощью определённых, понятных лишь им признаков сделать вывод о том, насколько истинно было моё призвание.

Жак уже знал, знал и я, когда мы протискивались внутрь бара, будто входя в магнитное поле или приближаясь к маленькому раскалённому кругу, что там был новый бармен. Высокомерный, темноволосый, по-львиному гибкий, он стоял,

<sup>5</sup> завсегдатаи (фр.)

<sup>6</sup> дурочки (фр.)

<sup>7</sup> квартале (фр.)



облокотившись на кассу и поглаживая пальцами подбородок, разглядывал посетителей. Казалось, стойка была ему мысом, а мы все — морем.

Жака сразу потянуло к нему. Я чувствовал, что он готовится, так сказать, к штурму. Я понимал, что следует быть терпимым.

— Уверен, — сказал я, — что ты захочешь узнать бармена поближе. Поэтому я исчезну, когда пожелаешь.

В этой моей терпимости была доля — и немалая — холодного расчёта: я рассчитывал на подобное, когда позвонил ему, чтобы занять денег. Я знал, что Жак может надеяться заполучить стоящего перед нами парня только в том случае, если парень продаётся и покупается. Но уж коли он стоял с такой самонадеянностью на этом аукционе, то значит мог рассчитывать на покупателей побогаче и помиловиднее Жака. Знал я, что и Жак понимал это. Но я знал и другое. То, что показное расположение Жака ко мне связано на самом деле с одним желанием — желанием со мной разделаться и вскоре начать меня презирать, как он презирал теперь целую армию молодых людей, шедших — без любви — к нему в постель. Я противился этому желанию тем, что прикидывался будто мы с ним друзья, и тем, что заставлял Жака — под страхом унижения — делать то же самое. Я притворялся, будто не замечаю (хоть и пользовался ею) недремлющую похоть в его блестящих, упрекающих глазах, и с помощью грубой мужской прямоты, дававшей понять, что он должен оставить всякую надежду, без конца заставлял его надеяться. И наконец я знал, что в подобного рода बारे я был для Жака чем-то вроде защиты. Пока я был там, все могли видеть (а сам он мог поверить), что Жак пришёл со мной, своим другом, что он был там не из отчаяния, что не находился в полной зависимости от какого-то везения, жестокости или всего того, что душевное и физическое ничтожество ему уготовило.

— Никуда ты не пойдёшь, — сказал Жак. — Я буду поглядывать на него время от времени, а разговаривать буду с тобой. Так я и деньги сэкономлю, и удовольствия какое-то получу.

— Интересно, где Гийом его отыскал, — ответил я, поскольку парень был до такой степени тем типом, о котором Гийом всегда мечтал, что с трудом верилось в то, что ему могло так повезти.

— Чего желаете? — спросил он нас.

По тону было ясно, что, хотя он и не говорил по-английски, он знал, что мы говорили о нём и надеялся, что мы уже закончили.

— Une fine à l'eau<sup>8</sup>, — ответил я.

— Un cognac sec<sup>9</sup>, — сказал Жак.

Оба мы проговорили это слишком быстро, так что я покраснел и, пока он нас обслуживал, по лёгкой усмешке Джованни понял, что он заметил это.

Жак, делая вид, что не понял значения улыбки Джованни, сразу воспользовался ею.

— Вы здесь новенький? — спросил он по-английски.

Джованни почти наверняка понял вопрос, но его больше устраивало недоумённое перевести взгляд с Жака на меня, потом снова на Жака. Жак перевёл. Джованни пожал плечами.

— Уже месяц, — сказал он.

Зная, к чему ведёт этот разговор, я, опустив глаза, попил свой коньяк.

— Вам должно быть здесь, — продолжал Жак, утяжеляя лёгкий намёк, — очень странно.

— Странно? — откликнулся Джованни. — Почему же?

Жак захихикал. Мне вдруг стало стыдно за то, что я был с ним.

<sup>8</sup> Лучший коньяк с ледяной крошкой (фр.)

<sup>9</sup> Чистый коньяк (фр.)

— Здесь столько мужчин, — произнёс он со вздохом (я знал этот голос — без дыхания, вкрадчивый, выше, чем у любой девицы, горячий, намекающий, но в то же время абсолютно недвижимый, полный смертоносного жара, нависающего над болотистой почвой в июле), — столько мужчин и почти нет женщин. Вам не кажется это странным?

— А., — сказал Джованни и отвернулся, чтобы обслужить другого клиента, — женщины, без сомнения, ждут их дома.

— Уверен, что одна из них ждёт вас, — продолжал настаивать Жак, но Джованни ничего на это не ответил.

— Ну вот. Это не было слишком долго, — заключил Жак, обращаясь наполовину ко мне, наполовину к тому пространству, которое только что заключало в себе Джованни. — Доволен, что остался? Теперь я весь твой.

— Ты всё делаешь не так, — сказал я. — Он без ума от тебя. Просто не хочет выдать своё волнение. Скажи, пусть нальёт ещё. Поинтересуйся, где он любит покупать себе одежду. Поведай ему о той чудесной маленькой «Альфа-Ромео», которую тебе до смерти хочется подарить какому-нибудь стоящему бармену.

— *Очень* смешно, — сказал Жак.

— Что поделаешь? Хилое сердце никогда не завоюет прекрасного атлета, это уж точно.

— Всё равно я уверен, что он спит с девицами. Все они такие, сам знаешь.

— Я слышал о парнях, которые этим занимаются. Маленькие противные чудовища.

Некоторое время мы стояли молча.

— А почему бы тебе не пригласить его выпить с нами? — предложил Жак.

Я взглянул на него.

— Почему? Знаешь, тебе, может, трудно в это поверить, но я и сам приволакиваюсь за девицами. Если бы здесь была его сестра, такая же смазливая, её я бы пригласил с нами выпить. Я не трачу денег на мужчин.

Я видел, что Жак еле сдерживается, чтобы не сказать, что *на себя* я позволяю мужчинам тратить деньги. Я наблюдал за этой борьбой, едва улыбаясь, поскольку был уверен, что он ничего не скажет. Затем он произнёс со своей бравурной бодрящей улыбкой:

— Я и не предполагал, что ты подвергнешь опасности хотя бы на мгновение свою... — он сделал паузу, — свою *незапятнанную* мужественность, составляющую всю твою гордость и счастье. Я всего лишь подумал, что будет лучше, если *ты* его пригласишь, поскольку *мне* он почти наверняка откажет.

— Но прикинь всё-таки, — сказал я с ухмылкой, — какая это будет двусмысленность. Он посчитает, что это я жажду его плоти. А что будет потом?

— Если возникнет какая-либо двусмысленность, — ответил Жак с достоинством, — я буду счастлив её развеять.

Мы смерили друг друга взглядом. Затем я рассмеялся.

— Подожди, пока он вернётся. Надеюсь, он выберет магnum<sup>10</sup> самого дорогого шампанского во Франции.

Я отвернулся, навалившись на стойку. В душе я ощущал какое-то ликование. Жак стоял рядом со мной очень тихо, вдруг став немощным и старым, и я испытал быстрое, острое и пугающее чувство жалости к нему. Джованни обслуживал в зале сидящих за столиками, потом вернулся за стойку, улыбаясь чуть мрачновато и неся нагруженный поднос.

— Может, — сказал я, — будет естественнее, если у нас будут пустые рюмки.

Мы допили. Я поставил свою рюмку.

— Бармен! — позвал я.

---

<sup>10</sup> Большая бутылка примерно в 2,5 литра (здесь и далее примеч. переводчика).

— Повторить?

— Да...

Он уже собирался отойти.

— Бармен, — выпалил я, — мы хотели бы предложить вам выпить с нами, если вы не против.

— Eh bien! — воскликнул голос позади нас. — C'est fort ça!<sup>11</sup> Ты не только наконец (и слава богу!) совратил этого прекрасного американского регбиста, но ещё и пользуешься им, чтобы растлить моего бармена. Vraiment, Jacques!<sup>12</sup> В твоём-то возрасте!

У нас за спиной стоял Гийом, скалящий зубы, как кинодива, и размахивающий длинной белой салфеткой, без которой его никогда не видели в баре. Жак повернулся, страшно довольный тем, что его обвинили в такой незаурядной соблазнительности, и они с Гийомом бросились друг другу в объятия, как две старые экзальтированные девицы.

— Eh bien, ma chérie, comment vas-tu?<sup>13</sup> Давно я тебя не видел.

— Я был ужасно занят, — сказал Жак.

— Не сомневаюсь! И не стыдно тебе, vieille folle?<sup>14</sup>

— Et toi?<sup>15</sup> Ты уж, конечно, не терял времени даром.

И Жак бросил восторженный взгляд в сторону Джованни, как если бы он был скакуном редкой породы или редкостной частью фарфорового сервиза. Гийом проследил за взглядом Жака и сказал упавшим голосом:

— Ah, ça, mon cher, c'est strictement du business, comprends-tu?<sup>16</sup>

Они немного отошли. И меня вдруг окружило страшное молчание. В конце концов я поднял глаза и посмотрел на Джованни, который наблюдал за мной.

— Кажется, вы хотели угостить меня, — сказал он.

— Да. Возьмите себе что-нибудь.

— Я не пью спиртного на работе, поэтому налью себе кока-колы.

Он взял мою рюмку.

— А вам? То же самое?

— Да, то же.

Я ощутил, что мне приятно с ним разговаривать, и это чувство испугало меня. Я ощущал какую-то угрозу, поскольку Жака уже не было рядом. Потом я понял, что мне придётся платить — хотя бы за эту рюмку: не мог же я дернуть Жака за рукав, будто я у него на содержании. Я кашлянул и положил на стойку купюру в десять тысяч франков.

— Так богаты, — сказал Джованни, ставя передо мной рюмку.

— Нет, вовсе нет. Просто у меня нет мелких денег.

Он улыбнулся. Не могу сказать, улыбнулся ли он, думая, что я лгу, или потому что понял, что я говорю правду. Он молча взял деньги, пробил чек и аккуратно выложил передо мной сдачу. Потом наполнил свой стакан и встал, как прежде, облокотившись на кассу. Я почувствовал, как что-то сжалось у меня в груди.

— A la vôtre!<sup>17</sup> — сказал он.

— A la vôtre.

Мы выпили.

— Вы американец? — спросил он наконец.

<sup>11</sup> Ну вот! (...) Так оно и есть! (фр.)

<sup>12</sup> В самом деле, Жак! (фр.)

<sup>13</sup> Ну что, моя милочка, как поживаешь? (фр.)

<sup>14</sup> Старая дурочка? (фр.)

<sup>15</sup> А ты? (фр.)

<sup>16</sup> А, ты об этом, дорогой? Это связано лишь с работой, понимаешь? (фр.)

<sup>17</sup> Ваше здоровье (фр.)

— Да, из Нью-Йорка.  
— О! Мне говорили, что это очень красивый город. Красивее Парижа?  
— Ну нет, — сказал я. — *Нет* города красивее Парижа.  
— Кажется, что одно предположение, что другой город может быть красивее, способно вас рассердить, — сказал Джованни с улыбкой. — Простите меня. Я не хотел показаться еретиком.

Затем добавил более серьёзно и так, будто желал успокоить меня:

— Вы, должно быть, очень любите Париж.  
— Я и Нью-Йорк люблю, — сказал я, чувствуя с беспокойством, что у меня в голосе зазвучали нотки самообороны, — но Нью-Йорк очень хорош совершенно в ином духе.

Он сдвинул брови.

— В каком?

— Его невозможно себе представить, не увидев ни разу. Он весь — высота, новизна, неон. Он будоражит...

Я помолчал.

— Трудно это описать. Это просто двадцатый век.

— Вы находите, что Париж *не* из этого века? — спросил он с улыбкой.

От этой улыбки я чувствовал себя как-то глуповато.

— Ну Париж ведь *старый* город, в нём вереница столетий. Здесь чувствуешь всё то время, которое ушло. Это не то, что ощущаешь в Нью-Йорке...

Он улыбался. Я умолк.

— А что вы чувствуете в Нью-Йорке? — спросил он.

— Пожалуй, чувствую всё то время, которое ещё придёт. Там во всём какая-то сила и всё в движении. Невозможно не задуматься (*мне* невозможно), каким всё это будет через много лет.

— Через много лет? Когда нас не будет, а Нью-Йорк станет старым?

— Да, — ответил я. — Когда все устанут. Когда мир — для американцев — станет не таким новым.

— Не понимаю, почему мир такой новый для американцев, — сказал Джованни.

— В конце концов, почти все вы эмигранты. И вы покинули Европу не так давно.

— Океан очень велик. Мы вели не ту жизнь, что вы, и с нами случилось то, что никогда не случилось здесь с вами. Вы понимаете, конечно, что это должно было сделать нас другими людьми?

— Ах, если бы это сделало вас всего лишь другими людьми! — сказал он со смехом. — Но вы, кажется, превратились в другой вид двуногих. Не обитаете ли вы на другой планете, а? Это могло бы, мне кажется, всё объяснить.

— Должен сказать, — сказал я немного запальчиво, поскольку не люблю, когда надо мной смеются, — что иногда похоже, будто именно так мы о себе и думаем. Но мы всё-таки не инопланетяне, нет. Так же, как вы, мой друг.

Он снова улыбнулся.

— Не буду оспаривать этот досадный факт.

Мы немного помолчали. Джованни отошёл обслуживать посетителей в разных концах бара. Гийом и Жак всё ещё разговаривали. Похоже было, что Гийом завёл один из своих нескончаемых анекдотов — тех, что неизменно вертятся вокруг опасностей, подстерегающих в любви и в бизнесе, — поскольку рот Жака был растянут в слегка болезненной улыбке. Я видел, что ему до смерти хочется вернуться к стойке.

Джованни снова появился передо мной и принялся протирать стойку влажной тряпкой.

— Американцы смешные. У вас странное восприятие времени — или, пожалуй, вы не воспринимаете его вообще, не знаю. *Chez vous*<sup>18</sup> время всегда похоже на

---

<sup>18</sup> У вас (фр.)

парад – на *триумфальный* парад, как будто армия с развевающимися знамёнами входит в город. Как будто времени так много, что американцам оно и не очень-то нужно, *n'est-ce pas?*<sup>19</sup>

Он посмотрел на меня насмешливо и улыбнулся, но я ничего не ответил.

– Так вот, – продолжал он, – кажется, что при наличии достаточного времени, при всей устрашающей энергии и всех ваших достоинствах, всё будет устроено, разрешено и поставлено на своё место. И когда я говорю «всё», – добавил он мрачно, – я имею в виду такие серьёзные и страшные вещи, как боль, смерть и любовь, в которые вы, американцы, не верите.

– Почему вы думаете, что мы не верим? А во что верите вы?

– Я не верю в эту чушь по поводу времени. Время у всех общее, как вода для рыб. Все в той же воде, а если кто и попытается оказаться вне её, с ним случится то же, что с рыбой, – он погибнет. А знаете ли вы, что происходит в этой воде, во времени? Большие рыбы поедают маленьких. Вот и всё. Большие рыбы жрут маленьких, а океану наплевать.

– Бросьте, пожалуйста, – сказал я. – В это я не верю. Время – не вода, мы – не рыбы, и у вас есть выбор: быть съеденным или не есть самому. Не есть, – добавил я поспешно, немного покраснев от его довольной сардонической улыбки, – маленьких рыб, разумеется.

– Выбор! – возмутился Джованни, отвернув от меня лицо и, казалось, обращаясь к невидимому союзнику, давно подслушивающему весь разговор.

– *Выбор!*

Он снова повернулся ко мне.

– Да, вы настоящий американец. *J'adore votre enthousiasme!*<sup>20</sup>

– А я обожаю ваш, – заметил я вежливо, – хотя он и помрачнее моего оттенком.

– Так или иначе, – сказал он мягко, – я не знаю, что ещё можно делать с маленькими рыбками, кроме как поедать их. На что ещё они годны?

– В нашей стране, – начал я не вполне уверенно, – мелкие рыбёшки вроде бы объединились и покусывают кита.

– От этого они не станут китами, – возразил Джованни. – Единственным результатом этого покусывания будет то, что величие перестанет существовать где-либо в мире, даже на дне морском.

– Именно это вы имеете против нас? Что у нас нет величия?

Он улыбнулся – улыбнулся так, как улыбаются неравному по силе противнику, готовясь отказаться от противоборства.

– *Peut-être*<sup>21</sup>.

– Да вы здесь просто невыносимы, – сказал я. – Это вы убили величие прямо здесь, в этом городе – камнями ваших мостовых. А ещё толкуете о маленьких рыбках!..

Он продолжал усмехаться. Я замолчал.

– Не останавливайтесь, – сказал он всё с той же улыбкой. – Я слушаю.

Я допил коньяк.

– Это вы свалили на нас всё своё *merde*<sup>22</sup>, – проговорил я угрюмо, – а теперь говорите, что мы варвары, потому что от нас воняет.

Он пришёл в восторг от моей угрюмости.

– Вы очаровательны, – сказал он. – Вы всегда так разговариваете?

– Нет, – ответил я и опустил глаза. – Почти никогда.

<sup>19</sup> Не так ли? (фр.)

<sup>20</sup> Обожаю ваш энтузиазм! (фр.)

<sup>21</sup> Может быть (фр.)

<sup>22</sup> Дерьмо (фр.)

В нём появилась какая-то кокетливость.

— Тогда я польщён, — сказал он с внезапной, приводящей в замешательство серьёзностью, таившей в себе, тем не менее, тончайший привкус насмешки.

— А вы, — выговорил я наконец, — вы уже давно здесь? Вам нравится Париж?

Он колебался одно мгновение, потом разудался, вдруг став по-мальчишески робким.

— Зимой здесь холодно. Мне это не нравится. А парижане — мне кажется, что они не слишком дружелюбны. А вам?

Он не стал ждать ответа.

— Они не похожи на тех, кого я знал, когда был моложе. В Италии мы сердечнее, мы танцуем, поём и любим. А эти, — и он посмотрел в зал, потом на меня, потом допил кока-колу, — они холодные. Я не понимаю их.

— А французы говорят, — стал я язвить, — что итальянцы слишком расплывчаты, слишком изменчивы, что у них нет чувства меры...

— Меры! — вскрикнул Джованни. — Ох уж эти мне обладатели чувства меры! Они считают каждый грамм, отмеривают сантиметр, эти люди; они складывают сэкономленные крохи в пачку, бумажка за бумажкой, год за годом — в чулок или под матрас. И что им остаётся от этой меры? Страна, которая разваливается на части, очень размеренно, у них на глазах. Мера... Мне не хочется оскорблять ваш слух наименованием всего, что, я уверен, эти люди отмеривают, прежде чем решиться хоть на что-то. Могу я теперь вас угостить, — спросил он неожиданно, — пока старик не вернулся? Кто он? Ваш дядя?

Я не знал, используется ли «дядя» в качестве эвфемизма. И почувствовал острое желание объяснить своё положение, но не мог придумать, как это повернуть. Я засмеялся.

— Нет, не дядя. Просто знакомый.

Джованни посмотрел на меня. И от этого взгляда я понял, что ещё никто за всю жизнь не смотрел мне по-настоящему в глаза.

— Надеюсь, он вам не очень дорог, — сказал он с улыбкой, — потому что он кажется мне глуповатым. Неплохой человек, понимаете, просто глуповатый.

— Пожалуй, — сказал я и сразу почувствовал себя предателем. — Он вообще ничего, — поспешил я добавить, — добрый малый. («Это тоже неправда, — думал я. — Он далёк от того, чтобы быть добрым».) — Во всяком случае он, разумеется, мне вовсе не дорог.

Я снова вдруг почувствовал это странное стеснение в груди и удивился звуку своего голоса.

Джованни осторожно наполнил мою рюмку.

— *Vive l'Amérique*<sup>23</sup>, — сказал он.

— Спасибо.

Я поднял рюмку.

*Vive le vieux continent*<sup>24</sup>.

Мы помолчали немного.

— Вы часто здесь бываете? — спросил Джованни неожиданно.

— Нет, не слишком часто.

— Но будете приходить, — поддразнивал он с чудесным насмешливым светом во взгляде, — чаще *теперь*?

Я запнулся:

— Почему?

— Ох! — вскрикнул он. — Вы что не понимаете, что приобрели только что друга?

---

<sup>23</sup> Да здравствует Америка (фр.)

<sup>24</sup> Да здравствует старый континент (фр.)



Я понимал, что выглядел глупо и что вопрос мой был глупым:

— Так быстро?

— Почему бы и нет, — возразил он с резонным видом и взглянул на свои часы.

— Мы можем подождать ещё час, если хотите. И тогда уже точно станем друзьями. Или подождать до закрытия и стать друзьями *тогда*. Или же подождать до завтра, только это означало бы, что вам придётся вернуться сюда завтра, а у вас, возможно, есть другие дела.

Он убрал часы и облокотился обеими руками на стойку.

— Объясните мне, что это за странная штука — время? Почему лучше позже, чем раньше? Всегда говорят: нужно подождать, нужно подождать. Чего все ждут?

— Ну я думаю, — ответил я, чувствуя, что Джованни заводит меня в глубокие и опасные воды, — ждут, пока уверятся в своих чувствах.

— Пока *уверятся*?

Он снова повернулся к невидимому единомышленнику и опять засмеялся. Этот его фантом уже, кажется, начал действовать мне на нервы, но смех Джованни в этом удушливом туннеле прозвучал совершенно невероятно.

— Ясно, что вы настоящий философ.

Он указал пальцем на моё сердце.

— А если вы уже подождали, делает ли это вас уверенным?

На это я просто не мог составить никакого ответа. Из тёмного, битком набитого народом центра бара кто-то крикнул: «Garçon!»<sup>25</sup>, и он с улыбкой пошёл на этот голос.

— Теперь вы можете подождать. А когда я вернусь, скажете, насколько вы стали уверены.

Он подхватил свой круглый металлический поднос и ушёл в толпу. А я наблюдал лица, наблюдавшие за ним. И тогда мне стало страшно. Я понял, что они следили, всё время следили за нами. Они знали, что были свидетелями пролога, и теперь не успокоятся, пока не увидят финал. Это происходило постепенно, но теперь за столиками уже повернулись: я оказался в клетке, а они наблюдали.

Я ставался у стойки довольно долго в одиночестве, поскольку Жак, избавившись от Гийома, оказался, бедняга, в плену двух лезвиеподобных молодых людей. Джованни вернулся на мгновение и подмигнул мне.

— Уже уверены?

— Ваша взяла. Это вы — философ.

— О, вы должны подождать ещё немного. Вы недостаточно хорошо меня знаете, чтобы прийти к такому выводу.

Он нагрузил свой поднос и снова исчез.

И тогда кто-то, кого я прежде никогда не видел, вышел на меня из мрака. Это напоминало мумию или зомби — таково было первое непреодолимое впечатление — или нечто, что продолжало ходить после того, как было умерщвлено. Это создание действительно передвигалось, как лунатик или фигуры на экране в замедленной съёмке. Держа в руке стакан, оно перемещалось на цыпочках, отчего его плоские бёдра колыхались с ужасающей загробной похотливостью. Оно скользило бесшумно из-за стоящего в баре гула, который напоминал отдалённый шум ночного моря. Оно поблёскивало в полумраке. Редкие чёрные волосы были густо смазаны фиксатуаром и зачёсаны чёлкой на лоб, ресницы посверкивали от туши, рот алел помадой. Лицо было белым, совершенно бескровным от какого-то крема. От него несло пудрой и напоминающими гардению духами. Рубашка, кокетливо расстёгнутая до пупа, открывала безволосую грудь с серебряным крестом. Эта рубашка была отделана тонкими, как папиросная бумага, фестонами красного, зелёного, оранжевого, жёлтого и голубого цветов, горевшими на свету и создавав-

<sup>25</sup> Официант! (фр.)

шими впечатление, что мумия может вот-вот сгинуть в их пламени. Талия была затянута красным поясом, но облегающие брюки были на удивление тусклого серого цвета. На туфлях сверкали пряжки.

Я не был уверен, что он направляется ко мне, но не мог отвести от него глаз. Он остановился передо мной, уперев руку в бедро, смерил меня взглядом с ног до головы и улыбнулся. Пахнуло чесноком. Зубы были гнилые. С содроганием я заметил, что руки у него большие и сильные.

— Eh bien, — сказал он, — il te plaît?<sup>26</sup>

— Comment?<sup>27</sup> — переспросил я.

Я действительно не был уверен, что понял правильно, хотя его дико сверкающие глаза, казалось, разглядывавшие что-то занятное внутри моего черепа, не оставляли сомнения в сказанном.

— Он тебе нравится, бармен?

Я не понимал, что отвечать и что делать. Было невысказано ни ударить его, ни рассердиться. Всё было нереально, и он был нереален. Кроме того, что бы я ни ответил, эти глаза высмеяли бы это. Я произнёс так грубо, как мог:

— А какое вам до этого дело?

— Мне, милый, нет до этого дела. Je m'en fou<sup>28</sup>.

— Тогда, пожалуйста, идите отсюда ко всем чертям.

Он не двинулся с места и снова улыбнулся мне.

— Il est dangereux, tu sais<sup>29</sup>. А для такого, как ты, он *очень* опасен.

Я посмотрел на него и чуть не спросил, что он имеет в виду.

— Отправляйтесь к чёрту в пекло, — огрызнулся я и повернулся к нему спиной.

— Как бы не так, — сказал он.

Я снова посмотрел на него. Он хохотал, обнажив все свои зубы, а оставалось их не так уж много.

— Нет-нет, я не пойду в пекло, — сказал он, ударив широкой ладонью по кресту на груди. — Но ты, мой милый, будешь, я боюсь, корчиться в очень жарком пламени.

Он опять захохотал.

— В таком огне!..

Он тронул свой лоб.

— Вот здесь.

И он скорчился, словно под пыткой.

— *Везде.*

Он положил руку себе на сердце.

— И здесь.

В его взгляде сверкали злоба, издёвка и ещё что-то. Он смотрел так, будто я находился очень далеко от него.

— О мой бедный друг, такой молодой, такой крепкий, такой миловидный, не возьмёшь ли мне чего-нибудь выпить?

— Va te faire foutre<sup>30</sup>.

Его лицо исказилось гримасой скорби младенцев и древних старцев — скорби некоторых стареющих актрис, прославившихся в своей юности хрупкой, почти детской красотой. Тёмные глаза сузились от злобы и бешенства, а углы кровавого рта опустились вниз, как у трагической маски.

— T'auras du chagrin<sup>31</sup>, — сказал он. — Ты ещё хлебнёшь горя. Помни, что я тебе сказал.

<sup>26</sup> Ну что, он тебе нравится? (фр.)

<sup>27</sup> Что? (фр.)

<sup>28</sup> Мне наплевать (фр.)

<sup>29</sup> Знаешь, он опасный (фр.)

<sup>30</sup> Да пошёл ты... (фр.)

<sup>31</sup> Тебя ждёт несчастье (фр.)

Он выпрямился, словно принцесса, и отошёл в толпу, пылая рубахой.

Голос Жака неожиданно прозвучал рядом:

— В баре говорят лишь о том, как жарко закрутилось у вас с барменом.

Он улыбнулся мне сияющей и мстительной улыбкой.

— Никакой двусмысленности, конечно, не было?

Я взглянул на него. Мне хотелось что-то сотворить с его радостным, отвратным, порочным лицом, чтобы оно никогда уже не улыбалось никому так, как улыбалось мне. Мне захотелось вырваться из этого бара, вздохнуть на воздухе, может быть, найти Хеллу, мою девушку, оказавшуюся вдруг в большой беде.

— Никакой двусмысленности не было, — отрезал я. — Может, это у тебя что-то помутилось в голове?

— Могу с уверенностью сказать, — ответил Жак, — что у меня в голове ещё никогда не было так ясно.

Он перестал улыбаться и посмотрел на меня холодно, с горечью и безразлично.

— Но несмотря на риск потерять навсегда твою столь невероятно искреннюю дружбу, позволь мне заметить тебе следующее. Двусмысленность — это роскошь, которую могут себе позволить только очень-очень молодые, а ты не так уж и юн.

— Не понимаю, о чём ты говоришь, — сказал я. — Давай лучше выпьем.

Я чувствовал, что мне лучше напиться. Джованни снова вернулся за стойку и подмигнул мне. Взгляд Жака не покидал моего лица. Я резко отвернулся от него лицом к стойке. Он сделал то же.

— Повторите, — сказал Жак.

— Ну вот, — откликнулся Джованни, — так держать.

Он наполнил наши рюмки. Жак расплатился. Думаю, что я не выглядел слишком хорошо, потому что Джованни бросил мне игриво:

— Эй! Вы уже набрались?

Я поднял голову и улыбнулся ему.

— Знаете, как пьют американцы? Я даже ещё не начинал.

— Дэвид ещё далеко не пьян, — сказал Жак. — Он лишь горестно размышляет о том, что ему понадобятся новые подтяжки.

Я готов был убить Жака. И, тем не менее, с трудом удержался от смеха. Я дал понять Джованни гримасой, что старик отпустил скабрёзную шутку, и он снова исчез. Наступило то время, когда посетители уходили целыми стаями, и новые занимали их место. Все они так или иначе встретятся позже в последнем открытом баре — все, кто достаточно несчастен для того, чтобы ещё искать чего-то в такой поздний час.

Я не мог смотреть на Жака, и он это понимал. Стоя рядом и улыбаясь неизвестно чему, он мурлыкал какую-то мелодию себе под нос. Мне нечего было сказать. Я не смел упоминать Хеллу. Даже себе я не мог лгать, что мне жаль, что она сейчас в Испании. Я был рад этому. Чрезмерно, безнадежно, ужасно рад. Я знал, что ничем не смогу усмирить то дикое возбуждение, что ворвалось в меня, как шквал. Я мог лишь пить, слабо надеясь, что буря порастратит таким образом свой напор и остановит разорение моих владений. Но мне было радостно. Я жалел лишь о том, что Жак был свидетелем всего этого. Мне было стыдно из-за него. И я его ненавидел за то, что он дождался всего, чего желал, на что смутно надеялся долгие месяцы. На самом деле мы играли в смертельно опасную игру, и он выиграл. Выиграл — несмотря на всю мою нечистую игру.

Стоя в этом баре, я всё ещё надеялся, что найду в себе силы повернуться и выйти, добраться хотя бы до Монпарнаса и взять девушку. Любую девушку. Но я не мог этого сделать. Я рассказывал себе всякие басни, стоя там, в баре, но оставался пригвождённым к месту. Так было отчасти потому, что я знал, что всё это уже не имеет значения, как не имело значения то, буду ли я ещё когда-нибудь говорить с Джованни. Потому что они стали очевидными, столь же очевид-

ными, как фестоны на рубашке пламенеющей принцессы, они бушевали во мне — мои проснувшиеся, мои настойчивые возможности.

Так я встретил Джованни. Думаю, мы соединились в первый же момент нашей встречи. Мы и сейчас слиты воедино, несмотря на последующее *séparation de corps*<sup>32</sup>, несмотря на то, что Джованни скоро начнёт разлагаться в неосвящённой земле где-то под Парижем. И до самой смерти пребудут со мной эти мгновения, мгновения, которые, кажется, встают из земли, как ведьмы в «Макбете», — пока его лицо не всплывёт передо мной во всех оттенках его выражения, пока тот самый тембр его голоса и любимые словечки почти не разорвут мне уши, пока его запах не переполнит мне ноздри. Когда-нибудь, в тех грядущих днях, — Бог пошлёт мне милость прожить их, — в сиянии серого утра, с пересохшим ртом, с воспалёнными красными веками, со спутанными и слипшимися от пота после бурной ночи волосами, сидя над чашкой кофе с сигаретой в руке напротив непроницаемого, ничего не значащего юноши минувшей ночи, который сейчас встанет и растворится, как дым, я снова увижу Джованни таким, каким он был в ту ночь, таким живым, таким всепобеждающим, возникшим из света того тёмного туннеля, в чью ловушку угодила его голова.

### 3

В пять часов утра Гийом закрыл за нами двери бара. Улицы были пустынными и серыми. На углу, рядом с баром, уже открыл свою лавку мясник. Его было видно внутри — уже забрызганного кровью, рубящего туши. Большой зелёный парижский автобус прогромычал мимо, почти пустой, указывая бешено мигающим сигналом, что собирается повернуть. *Garçon de café*<sup>33</sup> выплеснул воду на тротуар перед своим заведением и согнал её в сточную канаву. В конце длинной, кривой улицы перед нами виднелись деревья бульвара, плетеные стулья, составленные друг на друга перед кафе, и высокий каменный шпиль Сен-Жермен-де-Пре — самый великолепный, как считали мы с Хеллой, шпиль в городе. Улица, пересекавшая *place*<sup>34</sup>, тянулась с одной стороны до самой Сены, а с другой — извивалась до Монпарнаса. Она носит имя одного авантюриста, посеявшего в Европе то, что пожинаяют по сей день<sup>35</sup>. Я часто бродил вдоль этой улицы, иногда с Хеллой, по направлению к реке, но чаще без неё — по направлению к девицам Монпарнаса. Было это не так давно, но в то утро казалось, что совсем в другой жизни.

Мы направлялись к *Les Halles*<sup>36</sup>, чтобы позавтракать. Все четверо мы сели в такси, с неприязнью прижавшись друг к другу, что не преминуло вызвать целый поток непристойных шуточек со стороны Жака и Гийома. Их вульгарность была неприятна тем, что остроумие не получалось и что была она выражением презрения к себе и к другим; она выплёскивалась из них, как гнилая вода. Было очевидно, что они испытывали танталовы муки по поводу меня и Джованни, и это выводило меня из себя. Джованни же откинулся к заднему стеклу и, легонько толкая меня рукой в плечо, давал понять, что скоро мы избавимся от этих стариканов и что брызги этой мутной воды не должны нас беспокоить, поскольку мы всё это легко с себя смоем.

— Смотри, — сказал Джованни, когда мы пересекали реку по мосту, — этот старый блудник Париж так трогателен, когда ворочается в кровати.

---

<sup>32</sup> Раздельное проживание супругов (букв.: разделение тел) (фр., юридич.)

<sup>33</sup> Официант из кафе (фр.)

<sup>34</sup> Площадь (фр.)

<sup>35</sup> Имеется в виду улица Бонапарта.

<sup>36</sup> Главный рынок, т.н. чрево Парижа; разрушен в 70-х гг.

Я взглянул за его тяжёлый профиль, серый от усталости и цвета небес над нами. Река набухла и пожелтела. Ничто на ней не двигалось. Пришвартованные баржи стояли вдоль набережных. Остров Сите удалялся от нас, унося на себе тяжесть собора<sup>37</sup>; за ним — призрачно из-за скорости и тумана — проступали крыши жилых домов, мириады крыш с низкими трубами, прекрасными и разноцветными от жемчужного неба. Туман прирос к реке, смягчая очертания этой армии деревьев, смягчая эти камни, пряча странные штопорообразные аллеи и тупиковые улочки, прирос, как проклятие, к этим людям, спящим под мостами; один из них промелькнул под нами — чёрный и одинокий, бредущий вдоль реки.

— Одни крысы спрятались, — сказал Джованни, — другие теперь выползают наружу.

Он вяло улыбнулся и посмотрел на меня. Неожиданно для меня он взял мою руку и оставил её в своей.

— Тебе не приходилось спать под мостом? — спросил он. — Но, возможно, в вашей стране под мостами мягкие постели и тёплые одеяла?

Я не знал, что делать с рукой. Казалось, лучше не шевелиться.

— Пока нет, — сказал я, — но скоро придёт. Меня хотя бы вышвырнуть из отеля.

Я сказал это мягко, с улыбкой, желая показать, что знаком с тёмной стороной жизни, что мы с ним равны. Но поскольку он держал мою руку в своей, эти слова прозвучали невыносимо беспомощно, нежно и стыдливо. Однако я не мог сказать уже ничего, чтобы изменить это впечатление: добавить что-то означало бы лишь усилить его. Я освободил свою руку как будто для того, чтобы достать сигарету.

Жак дал мне прикурить.

— Где вы живёте? — спросил он Джованни.

— О, далеко, очень далеко отсюда. Это почти уже не Париж.

— Он живёт на жуткой улице около Nation<sup>38</sup>, — сказал Гийом, — среди всех этих жутких буржуа и их свиноподобных детей.

— Эти дети не попадались тебе в нужном возрасте, — сказал Жак. — У них бывает такой период, очень короткий, *hélas*<sup>39</sup>, когда свинья — это, пожалуй, *единственное* животное, которое они не напоминают.

Он снова обратился к Джованни:

— В отеле?

— Нет, — ответил тот, и впервые за всё это время показался смущённым. — Я живу в комнате служанки.

— Со служанкой?

— Нет, — сказал Джованни и улыбнулся. — Я не знаю, где она. Если бы вы увидели мою комнату, то сразу бы поняли, что там и не пахнет служанкой.

— Мне бы очень хотелось, — сказал Жак.

— Тогда мы устроим для вас как-нибудь вечеринку, — сказал Джованни.

Это было сказано слишком вежливо и слишком в лоб для того, чтобы допустить дальнейшие вопросы, но в то же время чуть не вызвало вопрос с моей стороны. Гийом быстро взглянул на Джованни, а тот, не обращая на него внимания, взглядывался в утро и что-то насвистывал. За последние шесть часов я только и делал, что принимал решения, и теперь пришёл ещё к одному: прояснить всю эту ситуацию с Джованни сразу же, как только мы останемся в Les Halles вдвоём. Я должен был ему сказать, что он ошибается на мой счёт, но что мы можем остаться друзьями. Но на самом деле я не был уверен, не ошибаюсь ли сам, слепо всё перевирая, и признаться в этом мне было ещё более стыдно. Я был в ловушке: как бы я теперь ни изворачивался, час признания неотвратимо приближался, и

<sup>37</sup> Нотр-Дам, собор Парижской Богоматери.

<sup>38</sup> Площадь недалеко от кольцевой дороги, отделяющей Париж от пригородов.

<sup>39</sup> Увы (фр.)

его уже было не избежать, — разве что выпрыгнув на ходу из машины, что само по себе стало бы самым ужасным признанием.

Таксист спросил, куда нам дальше, поскольку мы доехали до запруженных машинами бульваров и боковых улочек с односторонним движением района Les Halles. Лук-порей и просто лук, кабачки, апельсины, яблоки, картошка, цветная капуста — всё это красочными горами громоздилось на тротуаре и на проезжей части перед широкими жестяными навесами. Навесы эти были длиною в квартал, и под ними было навалено ещё больше фруктов и ещё больше овощей; под одними навесами была рыба, под другими — сыры, под третьими — целые туши недавно забитых животных. Трудно было себе представить, что всё это может быть когда-нибудь съедено. Но через несколько часов всё это будет раскуплено, и новые грузовики прибудут со всех концов Франции, пробираясь сюда — к большой выгоде улья торговцев средней руки — сквозь весь Париж, чтобы насытить рычащие толпы. Тем, кто рычал, одновременно лаская и раня ухо, впереди, сзади и с обеих сторон машины, наш таксист вместе с Джованни отвечали рычанием. Парижская толпа одета в синее, кажется, в любой день, кроме воскресенья, когда большинство одевается в необычайно праздничный чёрный цвет. Тут они все были в синем, споря за каждый сантиметр проезда и загораживая его своими тележками, ручными повозками, фургонами и неся на спинах доверху набитые корзины, будучи свято уверены в своей правоте. Краснолицая женщина, несущая фрукты, проорала — Джованни, таксисту и всему свету — особенно выразительное *sochopperie*<sup>40</sup>, на которое и таксист, и Джованни, предельно напрягая лёгкие, ответили, хотя фруктовая дама была уже вне поля нашего зрения и вряд ли помнила высказанную ей особенно неприличную догадку. Мы продолжали пробираться вперёд, поскольку никто ещё не сказал, где остановиться, и Джованни с шофёром, которые, казалось, сразу после въезда в Les Halles стали братьями, обменивались впечатлениями, крайне нелестно отзываясь о чистоплотности, манере выражаться, некоторых частях тела и привычках обитателей Парижа. (Жак с Гийомом обменивались куда менее добродушными замечаниями по поводу каждого встречного мужского пола.) На тротуарах поблёскивали отбросы, гнилая ботва, выброшенные цветы, фрукты и овощи, которые скапливались в груды естественно и постепенно или же разом. Вдоль стен и по углам выстроились *pissoirs*<sup>41</sup>, тускло горящие переносные жаровни, кафе, ресторанчики и жёлтые от дыма быстро, некоторые совершенно крошечные, чуть больше крытого угла в форме гранёного алмаза, заключающие в себе бутылки и оцинкованную стойку. Всё это было наполнено мужчинами — молодыми, старыми, средних лет, сохраняющими солидный вид, — солидный вопреки всем происходящим и происшедшим с ними катастрофам; и женщинами, более чем искушёнными в искусстве хитрить и терпеть, оценивать и взвешивать, а также — визжать, если им почему-либо понадобится мужская помощь, хотя было очевидно, что они прекрасно обходились и без неё. Ничто здесь не напоминало мне родину, а Джованни всё узнавал и упивался.

— Я знаю, куда надо, — сказал он таксисту. — *Très bon marché*<sup>42</sup>.

Он объяснил ему, где это находится. Выяснилось, что это одно из самых любимых мест таксиста.

— Где это? — раздражённо спросил Жак. — А я думал, мы едем в...

Он назвал другое место.

— Шутишь? — презрительно откликнулся Джованни. — Там *очень* плохо и *очень* дорого, это только для туристов. А мы же не туристы.

<sup>40</sup> Ругательство (букв.: свинство) (фр.)

<sup>41</sup> Писсуары (фр.)

<sup>42</sup> Там совсем недорого (фр.)



Он повернулся ко мне.

— Когда я только приехал в Париж, я работал в Les Halles, и довольно долго. *Nom de Dieu, quel boulot!*<sup>43</sup> Я молюсь каждый день, чтобы не пришлось снова так работать.

Он посмотрел на улицы, которые мы проезжали, с грустью, подлинность которой не умаляло то, что она была немного театральной и самоироничной.

Гийом произнёс из своего угла:

— Скажи ему, кто тебя спас.

— О да! Вот мой спаситель и мой *patron*.

Он помолчал немного.

— А вы не жалеете об этом, а? Я не доставляю вам слишком много хлопот? Вы довольны моей работой?

— *Mais oui*<sup>44</sup>, — сказал Гийом.

Джованни вздохнул.

— *Bien sûr*<sup>45</sup>.

Он снова уставился в окно и снова стал насвистывать. Мы подъехали к совершенно безлюдному месту.

— *Ici*<sup>46</sup>, — сказал таксист.

— *Ici*, — как эхо, повторил Джованни.

Я потянулся за бумажником, но Джованни быстро схватил меня за руку, давая понять сердитым подмигиванием, что эти старые развратники должны по крайней мере *платить*. Он открыл дверь и вышел из машины. Гийом не двинулся, поэтому платить пришлось Жаку.

— Ух, — произнёс Гийом, взглянув на дверь кафе, перед которой мы стояли, — я уверен, что тут полно всякой заразы. Хочешь нас отравить?

— Ты же не на улице будешь есть, — сказал Джованни. — Ты скорее отравишься в тех жутких шикарнейших заведениях, куда обычно ходишь и где у всех такие чистые лица, *mais, mon Dieu, les fesses!*<sup>47</sup>

Он ухмыльнулся.

— *Fais-moi confiance*<sup>48</sup>. Зачем мне тебя травить? Я останусь тогда без работы, а я только что понял, как мне хочется жить.

Они обменялись с Гийомом (Джованни продолжал улыбаться) таким взглядом, который я бы не понял, даже если бы осмелился попробовать. Жак, подталкивая нас так, будто мы были его курами, сказал насмешливо:

— Мы не можем стоять на холоде и спорить. Даже если там нельзя есть, там можно пить. Алкоголь убивает микробы. — Гийом вдруг просиял. Это было так неожиданно, будто где-то на нём был спрятан шприц с витаминами, автоматически впрыскивающий их точно в нужный момент.

— *Il y a des jeunes dedans*<sup>49</sup>, — сказал он, и мы вошли.

Действительно, там было около десятка молодых людей, стоявших за оцинкованной стойкой перед рюмками с красным и белым вином рядом с другими посетителями, отнюдь не молодыми. Веснушчатый парень с весьма вульгарной девичьей склонилостью над игральным автоматом у окна. За столиками в зале сидело несколько человек, и их обслуживал безукоризненно чисто выглядевший официант. В полумраке, на фоне грязных стен и посыпанного опилками пола, его

<sup>43</sup> Господи, что за каторга! (фр.)

<sup>44</sup> Ну да (фр.)

<sup>45</sup> Конечно (фр.)

<sup>46</sup> Здесь (фр.)

<sup>47</sup> Но, прости Господи, не задница! (фр.)

<sup>48</sup> Доверься мне (фр.)

<sup>49</sup> Там есть молодёжь (фр.)

белый пиджак сверкал, как снег. За столиками в приоткрытую дверь была видна кухня и, разумеется, пузатый повар. Он тяжело передвигался, наподобие одного из тех перегруженных грузовиков на улице. На голове у него был высокий белый колпак, в зубах — потухшая сигара.

За кассой сидела одна из тех совершенно неподражаемых и невыносимых дам, которые являются на свет исключительно в городе Париже (и являются в большом количестве) и которые были бы в любом другом месте такой же невообразимой дикостью, как русалка на вершине горы. По всему городу они восседают над своими кассами, как птицы в гнезде, и высидывают их, как яйца. Ничто из происходящего под тем кусочком неба, где они сидят, не ускользает от их всевидящего ока; и если что-либо их когда-то удивило, то это было во сне, а сны им давно не снятся. Они и не вредные, и не добрые, хотя в разные дни бывает по-разному; они знают, что все якобы чувствуют, когда им надо сходить в туалет, как знают абсолютно всё и обо всех, кто входит в их владения. И хотя одни из них блондинки, другие нет, одни толстые, другие худые, одни уже бабушки, а другие всё ещё старые девы, у них у всех тот же проницательно-отсутствующий всевидящий взгляд. Трудно поверить, что они когда-то со слезами просили грудь или видели солнце. Кажется, они явились на свет с жадной хрустящих купюр, беспомощно косыми, не в силах сфокусировать свой взгляд, пока не уселись за кассу.

У этой были чёрные с проседью волосы и бретонский тип лица. Она, как почти все стоящие у бара, знала Джованни и по-своему была расположена к нему. У неё была большая вместительная грудь, к которой она и прижала Джованни, и громкий басовитый голос.

— Ah, mon pote!<sup>50</sup> — вскрикнула она. — Tu es revenu!<sup>51</sup> Наконец-то вернулся! Salaud!<sup>52</sup> Разбогател, отыскал себе богатых друзей и забыл нас! Canaille!<sup>53</sup>

Тут она уставилась на нас, «богатых друзей», с чудесно симитированной дружественной затуманенностью во взоре, и ей не составило бы малейшего труда проследить любой момент нашей биографии — с момента рождения до этого самого утра. Она точно знала, кто из нас богат и насколько, и понимала, что это не я. Возможно, поэтому у неё в глазах мелькнуло мгновенное сомнение, когда она взглянула на меня. Однако она не сомневалась, что сразу всех нас раскусит.

— Ты же знаешь, — сказал Джованни, высвобождаясь и откидывая волосы назад, — когда начинаешь работать и становишься серьёзным, развлекаться некогда.

— Tiens, — сказала она насмешливо. — Sans blague?<sup>54</sup>

— Уверю тебя. Даже если ты молод, как я, всё равно здорово устаёшь и рано идёшь спать. К тому же *один*, — сказал Джованни так, будто это всё объясняло, а она продолжала смеяться и прищёлкнула языком от удовольствия.

— А сейчас, — спросила она, — ты пришёл или уходишь? Пришёл позавтракать или выпить чего-нибудь перед сном? Nom de Dieu<sup>55</sup>, выглядишь ты *не так уж серьёзно*. Думаю, тебе следует выпить.

— Bien sûr, — откликнулся кто-то за стойкой, — после такой тяжёлой работы ему срочно нужна бутылка белого вина и, пожалуй, не одна дюжина устриц.

Все засмеялись. И все незаметно принялись нас рассматривать, так что я почувствовал себя частью бродячего цирка. Казалось, что все очень рады за Джованни. Джованни повернулся на голос.

<sup>50</sup> Ба, приятель! (фр.)

<sup>51</sup> Ты вернулся! (фр.)

<sup>52</sup> Подлец! (фр.)

<sup>53</sup> Каналья! (фр.)

<sup>54</sup> Ну да. Шутишь что ли? (фр.)

<sup>55</sup> Чёрт побери (фр.)

— Прекрасная мысль, приятель. Именно этого мне не хватает.

Он повернулся к нам.

— Я не познакомил тебя с моими друзьями, — сказал он, посмотрев на меня и на кассиршу. — Это мосьё Гийом, — сказал он ей и добавил с тончайшей лестью в голосе: — мой patron. Он может подтвердить, что я стал серьёзен.

— Да, — начала она робко, — но я не знаю, серьёзен ли он.

И она покрыла смехом свою дерзость. Гийом, с трудом отрывая свой взгляд от молодых людей у стойки, протянул руку и улыбнулся.

— Вы правы, мадам, — сказал он. — Он настолько серьёзнее меня, что, боюсь, когда-нибудь станет хозяином моего бара.

«Станет, когда рак на горе свистнет», — подумала она, но изобразила на лице очарованность и энергично пожала ему руку.

— А это мосьё Жак, — продолжал Джованни, — один из наших лучших клиентов.

— *Enchanté, madame*<sup>56</sup>, — сказал Жак, расплывшись в ослепительной улыбке, на которую она ответила, простодушно её спародировав.

— А это *monsieur l'Américain*, известный ещё как *monsieur David, madame Clotilde*<sup>57</sup>, — представил меня Джованни и немного отступил назад. Что-то загорелось у него в глазах и осветило всё лицо радостью и гордостью.

— *Je suis ravie, monsieur*<sup>58</sup>, — сказала она, посмотрела на меня, улыбнулась и пожала мне руку.

Я тоже улыбался, совершенно не зная почему; всё внутри у меня скакало, как мячик. Джованни беззаботно положил мне руку на плечо.

— А что у вас есть вкусного? — спросил он громко. — Мы голодны.

— Но сначала надо что-нибудь выпить, — откликнулся Жак также громко.

— Мы же можем пить за столиком, а? — спросил Джованни.

— Нет-нет, — сказал Гийом, для которого отойти от стойки в тот момент было, как покинуть землю обетованную. — Сначала выпьем здесь вместе с мадам.

Предложение Гийома возымело тот эффект (но неприметно, словно дуновение ветерка коснулось всего или незаметно усилился свет), что из стоявших в баре образовалась *troupe*<sup>59</sup>, которая станет теперь разыгрывать разные роли в той пьесе, которую они знают наизусть. Мадам Клотильда должна была заколебаться, что она мгновенно и проделала, но очень ненадолго; затем она согласилась, но на что-то дорогое, и это было шампанское. И вот она потягивала из бокала, ведя какой-то ничтожный разговор с Гийомом, чтобы исчезнуть в ту же секунду, как только Гийому удастся завязать знакомство с одним из парней у стойки. Что же до молодых людей, то каждый из них невидимо прихорашивался, уже подсчитав про себя, сколько ему и его *sorain*<sup>60</sup> понадобится на ближайшие дни, уже оценив Гийома с точностью до десятой и прикинув, на сколько его хватит как источника, но в то же время и то, как долго они смогут его терпеть. Оставался лишь один вопрос: как с ним поступать — *vasche* или *chic*<sup>61</sup>, но они понимали, что, наверное, лучше *vasche*. Был ещё Жак, который мог оказаться бонусом или же утешительным призом. Был, конечно, ещё и я — нечто совсем иное, не обещающий квартир, пуховых перин или обедов, но всё-таки кандидат в любовники, хотя и недостижимый в качестве *môme*<sup>62</sup> Джованни. Практически единственным способом для них показать какую-то симпатию по отношению к нам с Джованни было избавить нас от этих стариков. Таким образом, к тем ролям, которые они приготовились

<sup>56</sup> Очень рад, мадам (фр.)

<sup>57</sup> Мосьё американец (...) мосьё Дэвид, мадам Клотильда (фр.)

<sup>58</sup> Я счастлива, мосьё (фр.)

<sup>59</sup> Труппа (фр.)

<sup>60</sup> Дружку (фр.)

<sup>61</sup> по-скотски или прилично (фр.)

<sup>62</sup> Малыша (фр.)

сыграть, добавилась определённая задорная аура убедительности, а к эгоистическим интересам — некоторый отблеск альтруизма.

Я заказал чёрный кофе и двойной коньяк. Джованни был далеко от меня и пил marc<sup>63</sup>, стоя между пожилым человеком, сфокусировавшим в себе всю грязь и порочность мира, и рыжеволосым юношей, который когда-нибудь будет выглядеть также, если, конечно, удалось бы прочесть в его тупом взгляде что-то столь же реальное, как будущее. Теперь же в нём было что-то от жутковатой красоты лошади и что-то от солдата-штурмовика; он незаметно наблюдал за Гийомом; он знал, что и Гийом, и Жак наблюдают за ним. Гийом всё ещё болтал с мадам Клотильдой, соглашаясь, что дела идут из рук вон плохо, что всё измельчало с приходом nouveaux riches<sup>64</sup> и что страна нуждается в де Голле. К счастью, они уже столько раз говорили об этом, что речь струилась, так сказать, сама по себе, не требуя от них ни малейшей концентрации. Жак был уже готов предложить одному из парней выпить за его счёт, но пока предпочитал разыгрывать со мной доброго дядю.

— Как ты себя чувствуешь? — поинтересовался он. — Это очень важный день для тебя.

— Чувствую себя прекрасно. А как ты?

— Как человек, у которого было видение.

— Да? Расскажи мне об этом видении.

— Я не шучу, — сказал он. — Я говорю о тебе. Видением был ты. Видел бы ты себя со стороны этой ночью. Видел бы себя сейчас.

Я посмотрел на него и ничего не ответил.

— Тебе сколько лет? Двадцать шесть? Двадцать семь? Мне почти дважды столько, и позволь тебе сказать, что ты счастливчик. Потому что то, что происходит с тобой, происходит *сейчас*, а не когда тебе стукнет сорок или что-то в этом роде: тогда у тебя больше не было бы надежды и ты был бы просто уничтожен.

— Что же со мной происходит? — спросил я, стараясь быть ироничным, но никакой иронии в моём голосе не прозвучало.

Он не ответил. Только вздохнул, бегло взглянув на рыжеволосого. Потом повернулся ко мне.

— Ты напишешь Хелле?

— Я пишу ей очень часто. И собираюсь продолжать в том же духе.

— Ты не ответил на мой вопрос.

— Неужели? Мне казалось, ты спросил, собираюсь ли я писать Хелле.

— Ладно. Попробуем по-другому. Собираешься ли ты написать Хелле об этой ночи и об этом утре?

— Не понимаю, что было такого, что об этом следует написать. И что тебе до того, напишу я или нет?

Он посмотрел на меня, и в его взгляде было какое-то отчаяние, о котором я не подозревал до сих пор. Оно испугало меня.

— Дело не в том, — начал он, — что *мне* до этого, а в том, что *тебе*. И что ей. И что этому бедному парню — вон тому, который не понимает, что когда он смотрит на тебя так, как он смотрит, он просто кладёт свою голову в львиную пасть. Собираешься ли ты обойтись с ним так, как обошёлся со мной?

— С *тобой*? Какое *ты* имеешь ко всему этому отношение? И как же я обошёлся с *тобой*?

— По отношению ко мне ты вёл себя бессовестно, — сказал он. — Ты был очень нечестен.

На этот раз в моём голосе прозвучала-таки ирония:

— Полагаю, ты хочешь сказать, что было бы совестливее с моей стороны, было бы честнее, если бы я... если бы...

---

<sup>63</sup> Коньяк из виноградных выжимок.

<sup>64</sup> Нуворишей (фр.)

— Я имею в виду, что было бы справедливее, если бы ты презирал меня чуть меньше.

— Прости. Но я думаю, уж коль скоро ты заговорил об этом, что большая часть твоей жизни *действительно* достойна презрения.

— То же можно сказать и о твоей, — сказал Жак. — В жизни так много достойного презрения, что голова идёт кругом. Но больше других заслуживает презрения тот, кто равнодушен к чужой боли. Ты должен всё-таки понимать, что человек, который стоит перед тобой, когда-то был даже моложе тебя и приобрёл свой нынешний жалкий вид совершенно незаметно.

На минуту воцарилось молчание, которое издалека нарушил своим смехом Джованни.

— Скажи, — промолвил я наконец, — ты действительно не можешь по-другому? Всегда должен стоять на коленях перед целой армией мальчишек ради каких-то пяти грязных минут в темноте?

— Подумай лучше, — ответил он, — о мужчинах, стоявших на коленях перед тобой, пока ты думал о чём-то другом и делал вид, что там, в темноте — у тебя между ног — ничего не происходит.

Я рассматривал янтарный коньяк в рюмке и влажные круги от неё на металле стойки. И из глубины, утонувшее в этом металле, отражение моего лица беспомощно смотрело на меня.

— Ты считаешь, — настаивал он, — что моя жизнь так же постыдна, как мои связи. А они постыдны. Но спроси себя, *почему* это так.

— Почему они постыдны?

— Потому что в них нет никакой привязанности, никакой радости. Это всё равно, что вставлять вилку в розетку без тока. Прикосновение есть, но нет контакта. Одно прикосновение, но ни контакта, ни света.

— Почему? — спросил я.

— Об этом ты должен спросить себя. Тогда, возможно, это утро в один прекрасный день не станет пеплом у тебя во рту.

Я посмотрел на Джованни, обнимавшего в этот момент одной рукой пропащую девицу, которая когда-то была очень милой, но больше такой уже никогда не будет.

Жак проследил за моим взглядом.

— Он влюблён в тебя по уши. Но ты не горд этим и не счастлив, как должно было бы быть. Тебе от этого страшно и стыдно. А почему?

— Я не понимаю его, — выдал я из себя. — Не знаю, что означает его дружба и что он понимает под дружбой.

Жак рассмеялся.

— Ты не знаешь, что он понимает под дружбой, но чувствуешь, что это небезопасно. Ты боишься, что она сделает тебя другим. А что за дружбы бывали у тебя раньше?

Я не ответил.

— Или, — продолжил он, — если на то пошло, что за любовные связи?

Я хранил молчание так долго, что он начал подтрунивать надо мной:

— Вернись, вернись, где бы ты ни витал!

Я ухмыльнулся, чувствуя внутренний холодок.

— Люби его, — сказал Жак горячо. — Люби его и позволь ему любить тебя. Думаешь, хоть что-то другое под небом имеет какое-то значение? И как долго в лучшем случае эта история может продолжаться, учитывая, что вы оба мужчины и что жизнь ещё распахнута перед вами? Только пять минут, уверяю тебя, только пять минут, и из них большая часть — *hélas!* — в темноте. И если ты считаешь их грязными, они *станут* грязными, — грязными, потому что ты не отдашься им, потому что будешь брезговать своей и его плотью. Но вы ведь можете сделать из вашей

встречи что угодно, не обязательно грязь; вы можете дать друг другу нечто, что сделает вас лучше — навсегда, если тебе *не будет* стыдно, если ты *не будешь* осторожничать.

Он помолчал, рассматривая меня, затем уставился в свою рюмку.

— Ты уже так долго осторожничал, — сказал он другим тоном, — и закончишь в ловушке своего собственного грязного тела — на веки веков, как я.

Он допил свой коньяк и слегка звякнул рюмкой о стойку, привлекая внимание мадам Клотильды.

Она тут же подошла, сияя, и в тот же момент Гийом осмелился улыбнуться рыжеволосому. Мадам Клотильда наполнила рюмку Жака и вопросительно посмотрела на меня, задержав бутылку над недопитым коньяком. Я колебался.

— *Et pourquoi pas?*<sup>65</sup> — спросила она с улыбкой.

Я допил залпом, и она снова налила. Затем она бросила длившийся не более сотой секунды взгляд на Гийома, кричавшего:

— *Et le rouquin là!*<sup>66</sup> Что будет пить рыжий?

Мадам Клотильда повернула голову, как актриса, готовящаяся произнести последние, предельно лаконичные строки утомительного, но потрясающего монолога.

— *On t'offre, Pierre*<sup>67</sup>, — промолвила она величественно. — Чего пожелаешь?

Она едва коснулась стоящей над баром бутылки самого дорогого коньяка в заведении.

— *Je prendrai un petit cognac*<sup>68</sup>, — промямлил означенный Пьер после паузы и, как ни странно, покраснел, что — в свете бледного восходящего солнца — сделало его похожим на только что павшего ангела.

Мадам Клотильда налила ему рюмку и, прекрасно разрешив таким образом напряжение, сопровождающее медлительный рассвет, поставила бутылку обратно на полку и вернулась к кассе. Теперь она пребывала за кулисами, где приходила в себя, допивая остаток шампанского. Она вздохнула, отпила из бокала и удовлетворённо посмотрела в медленно светлеющее утро.

— *Je m'excuse un instant, madame*<sup>69</sup>, — шепнул ей Гийом и прошёл у нас за спиной, направляясь к рыжему.

Я улыбнулся.

— Это то, о чём папа никогда не говорил мне.

— *Чей-нибудь* папа, — сказал Жак, — твой или мой, должен был нам сказать, что не так уж много людей умерло от любви. Но сколько погибло и сколько погибает каждую минуту — и в каких невероятных местах! — оттого, что им её не хватает... А вот и твой малыш. *Sois sage. Sois chic*<sup>70</sup>.

Он немного отошёл и заговорил со стоявшим рядом юношей.

Тут действительно подошёл мой малыш. В потоке солнечных лучей его лицо светилось, волосы взлетали, а глаза чудесно мерцали, как утренние звёзды.

— Нехорошо, что я ушёл так надолго, — сказал он. — Надеюсь, ты не слишком скучал.

— Уж *ты*, конечно, совсем не скучал. Ты похож сейчас на пятилетнего мальчика, проснувшегося в утро Рождества.

Это сравнение пришлось ему по душе и даже польстило ему, что явствовало из того, как он шутливо прикусил губу.

<sup>65</sup> Почему бы и нет? (фр.)

<sup>66</sup> А что там этот рыжий? (фр.)

<sup>67</sup> Тебя угощают, Пьер (фр.)

<sup>68</sup> Я возьму маленький коньяк (фр.)

<sup>69</sup> Простите, мадам, я оставлю вас на минутку (фр.)

<sup>70</sup> Будь мудр. Будь великодушен. (фр.)



— Уверен, что это не так, — сказал он. — Я всегда бывал разочарован в рождественское утро.

— Ну я имел в виду *самое раннее* утро — до того, как ты увидел, что там лежит под ёлкой.

Но его взгляд придал моим словам *double sens*<sup>71</sup>, и мы оба расхохотались.

— Ты голоден? — спросил он.

— Наверно, был бы голоден, если бы был живым и трезвым. Не знаю. А ты?

— Думаю, нам надо поесть, — сказал он без всякой убеждённости в голосе, и мы снова расхохотались.

— Ладно, — сказал я. — Что будем есть?

— Не знаю, могу ли я осмелиться рекомендовать белое вино и устриц, — ответил Джованни, — но это действительно лучше всего после такой ночи.

— Хорошо, давай попробуем, пока мы ещё можем дойти до зала.

Я взглянул через его плечо на Гийома и рыжеволосого. Было похоже, что они нашли тему для разговора, хотя я не мог представить себе, какую. А Жак был глубоко увлечён общением с высоким пареньком, очень молодым и веснушчатым, одетым в чёрный свитер с высоким воротом под горло, от чего он казался ещё бледнее и тоньше, чем был на самом деле. Он стоял у игрального автомата, когда мы вошли, и звали его, как оказалось, Ив.

— А они будут есть сейчас? — спросил я Джованни.

— Может, не сейчас, но рано или поздно будут. Все очень голодны.

Я отнёс это замечание больше на счёт юношей, чем наших приятелей, и мы перешли в зал, уже опустевший. Официанта не было видно.

— Мадам Клотильда, — крикнул Джованни, — *он mange ici, non?*<sup>72</sup>

Этот крик вызвал ответный крик мадам Клотильды, а также появление официанта, чей пиджак вблизи оказался менее белоснежным, чем выглядел издали. Это официально известило Жака и Гийома о нашем присутствии в обеденном зале и должно было решительно подогреть тигриную страстность во взоре юношей, с которыми они разговаривали.

— Мы быстро поедим и уйдём, — сказал Джованни. — Мне всё-таки на работу сегодня вечером.

— Вы здесь познакомились с Гийомом? — спросил я его.

Он поморщился, опустив глаза.

— Нет. Это долгая история, — ответил он и ухмыльнулся. — Нет, не здесь. Я встретил его, — начал он и засмеялся, — в кино.

Мы оба рассмеялись.

— *C'était un film du far west, avec Gary Cooper*<sup>73</sup>.

Это тоже показалось безумно смешным, и мы заливались от смеха, пока официант не принёс бутылку белого вина.

— Так вот, — продолжал Джованни с увлажнёнными от смеха глазами, потягивая вино, — после того, как раздался последний выстрел и зазвучала бравурная музыка, венчая триумф добродетели, в проходе между рядами я натолкнулся на Гийома, извинился и пошёл в фойе. Тут он догнал меня и начал длинную историю о том, что оставил свой шарф на *моём* сидении, поскольку, как выяснилось, он сидел *позади* меня, понимаешь ли, положив пальто и шарф на спинку сидения *перед* собой, и когда я сел, то потянул его шарф под себя. Ну я ответил, что не работаю в кинотеатре, и доходчиво пояснил, что он может сделать со своим шарфом. Но я не рассердился по-настоящему, потому что он был мне смешон. Тогда он сказал, что все, кто работает в кино, воры и что он уверен, что шарф не

<sup>71</sup> Двойной смысл (фр.)

<sup>72</sup> Едят здесь или нет? (фр.)

<sup>73</sup> Это был вестерн с участием Гари Купера (фр.)

вернут, потому что он им приглянулся, и что это была очень дорогая вещь и к тому же подарок от мамочки... О, такой сцены, уверяю тебя, никогда не сыграть даже Грете Гарбо. Так что мне пришлось вернуться в зал, но шарфа, конечно, не было, и когда я сообщил ему об этом, казалось, что он упадёт замертво прямо там, в фойе. А к тому времени, понимаешь, все уже были уверены, что мы пришли вместе, и я уже не знал, ударить его или броситься на тех, кто глазел на нас. Но он-то был одет с иголочки, а я совсем наоборот, и я решил, что нам лучше убраться из этого фойе. Мы подошли к кафе и сели за столик на террасе. И когда он наконец превозмог своё горе по поводу шарфа и того, что скажет мамочка, когда узнает об этом, и так далее, и тому подобное, он пригласил меня поужинать с ним. Конечно, я отказался. К тому времени он уже сидел у меня в печёнках, но единственным способом предотвратить новую сцену прямо там, на террасе, было пообещать поужинать с ним через несколько дней. Я не собирался идти, — сказал он со смущённой улыбкой, — но когда подошёл назначенный день, я не ел уже довольно долго и был страшно голоден.

Он посмотрел на меня, и я вновь увидел в его лице то, что не раз проскальзывало за эти часы: под красотой и бравадой угадывался страх и жгучее желание нравиться, и было это так невыносимо трогательно, что я с ужасом почувствовал желание потянуться к нему и приласкать.

Принесли устрицы, и мы начали есть. Джованни сидел в луче солнца, и по его чёрной шевелюре гуляли золотые блики от вина и блекло-перламутровые — от устриц.

— Так вот, — сказал он, покрывив рот, — ужин был, конечно, кошмарным, поскольку он прекрасно может устраивать сцены и у себя дома. Но к тому времени я уже знал, что он владеет бара и что у него французское гражданство. А у меня его не было, как не было ни работы, ни *carte de travail*<sup>74</sup>. И я знал, что он может мне очень пригодиться, если только я найду способ сделать так, чтобы он меня не лапал. Мне не удалось, надо признаться, — сказал он, взглянув на меня, — остаться вовсе нетронутым, поскольку у него больше рук, чем щупалец у осьминога, и нет никакого чувства собственного достоинства, *но*, — заключил он мрачно, отбрасывая очередную раковину и наполняя наши бокалы, — теперь у меня есть и *carte de travail*, и работа. Это хорошо и для него, — сказал он с улыбкой, — поскольку с моим появлением, кажется, дела пошли лучше. По этой причине он оставляет меня, в основном, в покое.

Он посмотрел в направлении бара.

— На самом деле он совсем не мужчина, — сказал он с горечью и смущением, одновременно ребячливо и по-взрослому устало. — Я не знаю, кто он, но он мерзкий. Всё-таки у меня останется *carte de travail*. Насчёт работы — это другой вопрос, но, — он постучал рукой по дереву, — уже три недели прошло, и пока всё в порядке.

— Но ты ждёшь неприятностей? — спросил я.

— Ну конечно, — ответил он, бросив на меня быстрый, испуганный взгляд, будто сомневался, понял ли я хоть слово из того, что он рассказывал, — скоро нас ждёт какая-то маленькая неприятность. Не сразу, разумеется, — это не его стиль. Но он придумает что-нибудь, чтобы на меня рассердиться.

Мы сидели какое-то время в молчании и курили, окружённые пустыми устричными раковинами, допивая вино. Внезапно я почувствовал, что очень устал. Я взглянул через стекло на узкую улицу, на странный кривой угол, где мы сидели, уже залитый солнцем и наполненный людьми — людьми, которых я никогда не пойму. Мне вдруг до боли захотелось домой — нет, не в отель на одной из парижских улиц, где консьержка с неоплаченным счётом в руках загородит мне

<sup>74</sup> Документ, дающий во Франции право на работу.

путь, но домой — туда, за океан, к тем вещам и людям, что знакомы мне и понятны; к тем вещам, в те места, к тем людям, которых я буду всегда и помимо своей воли, несмотря ни на какую душевную горечь, любить превыше всего на свете. Никогда раньше не подозревал я об этом чувстве в себе, и оно меня испугало. Вдруг я ясно увидел себя со стороны — бродягу, искателя приключений, неприкаянно слоняющегося по миру. Я взглянул на лицо Джованни, но это мало мне помогло. Он имел отношение к этому странному городу, который не имел отношения ко мне. Я начал понимать, что всё происходившее со мной было бы не так дико, если бы внушало какую-то веру в реальность происходящего, но всё было слишком странно для того, чтобы поверить. Это не было так странно или беспрецедентно (хотя какой-то голос гудел во мне: «Стыд! Позор!»), что я так неожиданно и так отвратительно спутался с парнем. Странно было то, что это был всего лишь крошечный узелок чудовищного человеческого клубка, плетущегося беспрерывно везде и всегда.

— Viens<sup>75</sup>, — сказал Джованни.

Мы встали и вернулись к бару, где Гийом оплатил наш счёт. Уже была откупорена новая бутылка шампанского, и Жак с Гийомом теперь действительно начали косеть. Это становилось всё отвратительней, и я подумал, удастся ли этим бедным, терпеливым юношам хоть что-нибудь поесть. Джованни обсудил с Гийомом открытие бара вечером, а Жак был слишком занят с бледным длинным пареньком для того, чтобы обратить на меня внимание. Мы попрощались и вышли.

— Я должен вернуться в отель, — сказал я на улице. — Мне нужно заплатить за номер.

Джованни уставился на меня.

— Mais tu es fou<sup>76</sup>, — сказал он мягко. — Нет никакого смысла ехать туда сейчас, чтобы увидеть уродину консьержку, а потом отправиться спать в номер одному, а потом проснуться с тошнотой и пересохшим ртом и желать покончить самоубийством. Пойдём со мной. Мы выспимся по-божески, потом выпьем где-нибудь по нежному аперитиву и легко пообедаем. Так будет гораздо веселее, — заключил он с улыбкой, — увидишь.

— Но мне нужно взять какие-то вещи.

Он взял меня за руку.

— Bien sûr. Но они не нужны тебе *сейчас же*.

Я отступил на шаг. Он остался на месте.

— Идём. Уверен, что я гораздо милее твоих обоев и твоей консьержки. Я улыбнусь тебе, когда ты проснёшься. А они — нет.

— Tu es vache<sup>77</sup>, — мог я только сказать.

— Это ты vache, потому что хочешь бросить меня одного в этом пустынном месте, зная, что я слишком пьян для того, чтобы добраться домой без посторонней помощи.

Мы расхохотались, увлекшись этой озорной игрой в подстрекательство. Потом вышли на бульвар Севастополь.

— Не будем больше обсуждать болезненный вопрос о том, что ты собирался бросить Джованни в такой опасный час посреди враждебного города.

Я начал понимать, что он тоже нервничает. Уже гораздо дальше по бульвару на нас вырулило такси. И он поднял руку.

— Я покажу тебе свою комнату, — сказал он. — Всё равно ты должен был её увидеть в один из этих дней.

<sup>75</sup> Идём (фр.)

<sup>76</sup> Ты с ума сошёл (фр.)

<sup>77</sup> Скотина (фр.)

Такси затормозило рядом с нами, и Джованни, будто вдруг испугавшись, что я могу действительно повернуться и убежать, подтолкнул меня в машину первым, сел рядом со мной и сказал шофёру:

— Nation.

Улица, на которой он жил, была широкой, скорее внушительной, чем элегантной, и была застроена массивными, недавней постройки жилыми домами. Она упиралась в маленький парк. Его комната, окнами во внутренний двор, находилась на первом этаже последнего дома по этой улице. Через прихожую, мимо лифта мы прошли в короткий, тёмный коридор, ведущий к ней. Она была крошечной. По неясным очертаниям я отметил страшный беспорядок и уловил запах спиртовки, на которой он готовил. Он запер дверь за нами, и потом минуту мы просто смотрели друг на друга в полумраке — с тревогой, с облегчением, тяжело дыша. Я дрожал, думая, что если не открою дверь сейчас же и не уйду, всё будет потеряно. Но я знал, что не могу открыть дверь, знал, что уже поздно; а скоро было поздно делать что-либо и оставалось лишь стонать. Он притянул меня к себе, обвинил себя моими руками, будто отдавая себя для того, чтобы я его нёс, и медленно увлёк меня за собой в кровать. Всё во мне кричало «нет!» Но всё, собравшись в целое, выдохнуло «да».

Здесь, на юге Франции, снег идёт нечасто; но сейчас снежинки — сначала редкие, а теперь всё гуще, — кружатся уже полчаса. Они падают так, что вот-вот могут решиться на вьюгу. Эта зима была холодной, хотя местные жители любое замечание по этому поводу, сделанное иностранцем, воспринимают как свидетельство невоспитанности. Сами они, даже если лица у них багровеют от ветра, который, кажется, дует отовсюду одновременно и проникает во все щели, излучают радость, как дети на берегу моря. «Il fait bien beau?»<sup>78</sup> — говорят они, обращая взоры к тяжелеющему небу, на котором прославленное солнце юга не показывалось уже столько дней.

Я отхожу от окна гостиной и принимаюсь бродить по дому. Уставившись в зеркало на кухне (мне пришло в голову побриться, пока не замёрзла вода), я слышу стук в дверь. Какая-то смутная, дикая надежда оживает во мне на мгновение, но я сразу понимаю, что это всего лишь следящая за домом женщина, живущая напротив и пришедшая убедиться, не украл ли я столовое серебро, не разбил ли вдребезги посуду и не разрубил ли мебель на дрова. Действительно, она барабанит в дверь, и я уже слышу её надтреснутый голос: «M'sieu! M'sieu! M'sieu l'Américain!»<sup>79</sup> С раздражением я думаю, какого чёрта она так встревожена.

Но она, как только я открываю дверь, сразу начинает улыбаться — одновременно кокетливо и по-матерински. Она уже в годах и не совсем француженка; появилась здесь много лет назад («когда я была ещё молоденькой девушкой, сэр»), перейдя ближайшую границу — итальянскую. Она, как и все женщины здесь, облеклась в траур, кажется, немедленно после того, как попросил её последний ребёнок. Хелла думала, что они все вдовы, но оказалось, у большинства из них мужья живы-здоровы. Эти мужья походили скорее на их сыновей. Иногда они играли в pelote<sup>80</sup> на залитом солнцем ровном поле возле нашего дома и наблюдали за Хеллой с горделивой заботливостью отцов и в то же время — с наблюдательным любопытством мужчин. Иногда я играл с ними в бильярд и пил красное вино в tabac<sup>81</sup>. Но меня не покидала скованность — из-за их сквернословия и добродушия, их панибратства и судеб, написанных у них на руках, на лицах и в глазах. Они

<sup>78</sup> Прекрасная погода? (фр.)

<sup>79</sup> Мсьё! Мсьё! Мсьё американец! (фр.)

<sup>80</sup> Баскская игра в мяч.

<sup>81</sup> Кафе, обладающие во Франции монополией на продажу табачных изделий.

обращались со мной, как с сыном, которого только недавно стали считать мужчиной, но в то же время — совершенно отчуждённо, поскольку ни к кому из них я не имел никакого отношения. К тому же они подозревали (или мне так казалось) во мне что-то, что-то такое, из-за чего на меня не стоило тратить сил и времени. Это было заметно в их взгляде, когда мы с Хеллой встречались с ними на дороге и они говорили, вполне почтительно: «*Salut, monsieur-dame*»<sup>82</sup>. Они могли сойти за сыновей этих женщин в чёрном, вернувшихся домой после целой жизни штормов и завоевания мира, вернувшихся, чтобы отдохнуть, браниться и ждать смерти, вернувшихся к этой груди, теперь высохшей, которая вскормила их на заре жизни.

Снежинки ссыпаются с платка на её ресницы, на пряди чёрных с проседью волос, выбившихся из-под платка. Она очень крепкая, хотя уже немного сгорблена и дышит с одышкой.

— *Bonsoir, monsieur. Vous n'êtes pas malade?*<sup>83</sup>

— Нет, я здоров. Входите.

Она входит, закрывает за собой дверь и сбрасывает платок на плечи. Я по-прежнему держу стакан в руке, и она отмечает это про себя.

— *Eh bien*, — говорит она, — *tant mieux*<sup>84</sup>. Но мы не видели вас уже несколько дней. Вы были всё это время дома?

Она ищет ответ у меня на лице.

Мне неловко и обидно, но сопротивляться её одновременно пытливому и участливому взгляду у меня нет сил.

— Да. Стояла плохая погода.

— Разумеется, ведь это не середина августа. Но вы же не инвалид. Ничего хорошего в сидении дома в одиночестве нет.

— Я уезжаю завтра утром, — говорю я в отчаянии. — Хотите проверить всё по списку?

— Хочу, — отвечает она и извлекает из кармана список всего домашнего добра, который я подписал при вселении. — Это не займёт много времени. Давайте начнём с конца.

Мы отправляемся на кухню. По дороге я ставлю стакан на ночной столик в спальне.

— Это не моё дело, что вы пьёте, — говорит она, не оборачиваясь, но я всё-таки оставляю стакан.

Входим в кухню. Здесь всё подозрительно чисто и прибрано.

— Где же вы ели? — спрашивает она резко. — Мне сказали, что в *tabac* вас не видели за последние дни. Вы были в городе?

— Да, — отвечаю я в замешательстве, — иногда.

— Пешком, что ли? — продолжает она допрос. — Водитель автобуса тоже вас не видел.

Задавая вопросы, она смотрит не на меня, а в список, отмечая что-то коротким жёлтым карандашом. Я не в состоянии сообразить, что ответить на её издевательский выпад. Я забыл, что в таком местечке почти никакое движение не ускользает от общественного ока и уха.

Она быстро осматривает ванную.

— Я почищу всё до утра, — говорю я.

— Очень надеюсь. Всё было чистенько, когда вы въехали.

Мы идём обратно через кухню. Она не заметила, что не хватает двух стаканов, которые я разбил, но у меня нет сил признаться ей в этом. Оставляю завтра какие-то деньги в буфете. Она включает свет в гостиной. Повсюду разбросаны мои грязные вещи.

<sup>82</sup> Приветствуем, дамы-господа (фр.)

<sup>83</sup> Добрый вечер, мосьё. Вы не больны? (фр.)

<sup>84</sup> Ах так. Тем лучше (фр.)

— Я всё заберу, — говорю я, пытаюсь улыбнуться.

— Вам было достаточно перейти через улицу. Я бы с радостью дала вам что-нибудь поесть. Суп какой-нибудь, что-то питательное. Я всё равно готовлю для мужа. Какая разница — готовить на одного или на двоих?

Меня трогают её слова, но я не знаю, как объяснить ей, как сказать, что мои нервы не выдержали бы напряжения от обеда с ней и с её мужем.

Она разглядывает вышитую подушку.

— Едете к вашей невесте?

Я знаю, что должен солгать, но почему-то не могу этого сделать. Меня пугают её глаза. Я начинаю жалеть, что оставил стакан в спальне.

— Нет, — отвечаю я сухо. — Она вернулась в Америку.

— Tiens!<sup>85</sup> А вы — остаётесь во Франции?

Она смотрит мне прямо в глаза.

— Пока что.

Я начинаю покрываться потом. Мне приходит в голову, что эта женщина, крестьянка из Италии, должна быть во многом похожа на мать Джованни. Изю всех сил я стараюсь не думать об её отчаянном вопле, стараюсь не видеть того, что отразилось бы в её глазах, если бы она знала, что её сын умрёт сегодня утром, если бы знала, что я сделал с её сыном.

Но, разумеется, это не мать Джованни.

— Это нехорошо, неправильно для такого молодого человека, как вы, сидеть одному в пустом доме без женщины.

На мгновение она стала очень грустной. Задумывается о том, что сказать. Я знаю, что ей хочется что-то сказать о Хелле, которую не любила ни она, ни какая-либо другая женщина в деревне. Но она выключает свет в гостиной, и мы переходим в большую хозяйскую спальню, где мы с Хеллой спали, но не ту, где я оставил стакан. Здесь тоже всё чисто и прибрано. Она осматривает комнату, потом смотрит на меня и улыбается.

— Вы не пользовались этой комнатой в последнее время.

Я чувствую, что густо краснею. Она начинает хохотать.

— Вы ещё будете счастливы. Вам надо уехать и найти себе другую женщину, *хорошую* женщину, жениться и завести детей. *Вот* что вам надо, — говорит она так, будто я возражаю ей, и продолжает, не дожидаясь ответа: — А где ваш *татап*<sup>86</sup>?

— Она умерла.

— А, — произносит она, поджав губы из сочувствия. — Это грустно. А папа — он тоже умер?

— Нет. Он в Америке.

— *Pauvre bambino!*<sup>87</sup>

Она смотрит мне в лицо. Я стою перед ней совершенно беспомощно и думаю, что если она не уйдёт скоро, я разражусь рыданием и проклятиями.

— Но вы же не собираетесь просто скитаться по свету, как моряк? Уверена, что это огорчило бы вашу маму. Вы ведь обзаведётесь когда-нибудь своим домом?

— Да, конечно. Конечно-нибудь.

Она кладёт свою сильную руку на мою.

— Даже если вы потеряли *татап*, — что очень грустно! — ваш папа будет так счастлив приласкать ваших *bambinos*.

Она замолчала. Её чёрные глаза увлажнились. Она смотрела на меня и в то же время куда-то сквозь меня.

---

<sup>85</sup> Вот как! (фр.)

<sup>86</sup> Мамочка (фр.)

<sup>87</sup> Бедное дитя! (фр., итал.)



— У нас было три сына. Двоих убило на войне. Война унесла и все наши деньги. Обидно, не правда ли, так тяжело работать всю жизнь, чтобы заслужить себе покой на старости лет, и вдруг лишиться всего? Это почти убило моего мужа, и он стал совсем другим с той поры.

И тут я увидел в её глазах не одну лишь пронизательность, но и горечь, и боль. Она пожала плечами.

— Эх, что поделаешь? Лучше не думать об этом.

Она улыбнулась.

— Зато наш младший сын, который живёт на севере, приезжал навестить нас два года назад и привозил своего мальчугана. Ему было тогда всего четыре годика. Такой миленький! Его зовут Марио.

Она жестиком показала.

— Это имя моего мужа. Они пробыли у нас дней десять, и мы оба будто помолодели.

Она снова улыбалась.

— Особенно мой муж.

Какое-то время эта улыбка сохраняется у неё на лице. Потом она внезапно спрашивает:

— Вы молитесь?

Я думаю о том, хватит ли мне сил выдержать ещё немного.

— Нет. Не часто.

— Но вы верующий?

Я улыбаюсь. Но снисходительной, как мне того хотелось, эта улыбка не получилась.

— Да.

Не знаю, что выразила моя улыбка, но она её не убедила.

— Вы должны молиться, — сказала она очень строго. — Уверю вас. Хотя бы коротенькую молитву, время от времени. Зажгите свечку. Если бы не молитвы блаженнейших святых, в этом мире было бы совсем невыносимо жить. Я говорю с вами, — сказала она, слегка приосанившись, — как если бы была вашей маман. Не обижайтесь.

— Я не обижаюсь. Вы очень добры. Очень добры, что так со мной говорите.

Она расплылась в довольной улыбке.

— Мужчины — не только младенцы, вроде вас, но и пожилые мужчины, — всегда нуждаются в женщине, чтобы услышать всю правду. Les hommes, ils sont impossibles<sup>88</sup>.

Она заулыбалась, заставив и меня улыбнуться лукавству этой универсальной шутки, и выключила свет в хозяйской спальне. Мы снова в коридоре и идём, к счастью, по направлению к моему стакану. В этой спальне, конечно, менее опрятно: свет горит, мой банный халат, книги, грязные носки, несколько невымытых стаканов и чашка с остатком вчерашнего кофе — всё разбросано и свалено вперемешку, и простыни на кровати сбиты в комок.

— До утра я всё приведу в порядок, — обещаю я.

— Bien sûr, — вздыхает она. — Вы действительно должны послушаться моего совета, мосьё, и жениться.

От этих слов мы оба неожиданно рассмеялись. Я допил виски.

Почти всё по списку уже проверено. Мы переходим в последнюю комнату — гостиную, где у окна стоит бутылка. Она смотрит сначала на бутылку, потом на меня.

— Вы же напьётесь до утра.

— О, нет! Я заберу её завтра с собой.

<sup>88</sup> Мужчины, они несносны (фр.)

Она, конечно, понимает, что это неправда. Но лишь пожимает плечами. Затем, после завязывания платка вокруг головы, она вновь становится формальной и даже немного робкой. Теперь, видя, что она собирается уходить, я стараюсь придумать что-нибудь, чтобы её задержать. Когда она перейдёт через улицу, ночь станет чернее и длиннее, чем когда-либо. Есть что-то, что я должен сказать ей, — ей? — но, конечно, это никогда не будет сказано. Я хочу, чтобы меня простили, чтобы *она* простила меня. Но я не знаю, как определить своё преступление. Это преступление, как ни странно, состоит в том, что я мужчина, и она всё об этом уже знает. Ужасно, что я чувствую себя перед ней голым, как мужающий мальчик перед своей матерью.

Она протягивает руку. Я жму её, неуклюже.

— *Bon voyage, monsieur*<sup>89</sup>. Надеюсь, что вы были здесь счастливы и что когда-нибудь приедете к нам опять.

Она улыбается, и у неё добрый взгляд, но теперь эта улыбка — чистая формальность, вежливое завершение сделки.

— Спасибо, — говорю я. — Возможно, я вернусь через год.

Она отпускает мою руку, и мы идём к двери.

— Да! — говорит она перед дверью. — Пожалуйста, не будите меня утром. Опустите ключи в мой почтовый ящик. Мне уже незачем вставать так рано.

— Обязательно, — говорю я с улыбкой и открываю дверь. — Спокойной ночи, мадам.

— *Bonsoir, monsieur. Adieu!*<sup>90</sup>

Она делает шаг в темноту. Свет из моего и её дома освещает улицу. Огни города мерцают под нами, и на какое-то мгновение я снова слышу шум моря.

Она немного отходит от меня и оборачивается.

— *Souvenez-vous*<sup>91</sup>, — говорит она мне, — время от времени нужно немного молиться.

И я закрываю дверь.

Её приход напомнил мне, как много нужно ещё сделать до утра. Я решаю вычистить ванную комнату до того, как позволю себе снова выпить. Сначала я принимаюсь скрести ванну. Затем наполняю водой ведро, чтобы вымыть пол. Это крошечная квадратная ванная с одним заиндевевшим окошком. Она напоминает мне ту, вызывающую клаустрофобию комнату в Париже. Джованни вынашивал грандиозные планы ремонта и однажды даже приступил к нему, и мы жили среди вещей, испачканных сверху донизу штукатуркой, и стопок кирпича на полу. Ночью мы заворачивали эти кирпичи и выносили из дома, оставляя их на улице.

Наверно, они придут за ним рано утром, возможно, перед самым рассветом, так что последнее, что увидит Джованни, будет серое, глухое небо над Парижем, под которым, спотыкаясь, мы брели вдвоём домой столько отчаянных и пьяных рассветов.

*Окончание в следующем номере.*

---

<sup>89</sup> Счастливого пути, мосьё (фр.)

<sup>90</sup> До свидания, мосьё. Прощайте! (фр.)

<sup>91</sup> Помните (фр.)